

МАРИНА ЦВЕТАЕВА В ПИСЬМАХ СЕСТРЫ И ДОЧЕРИ

II. Письма Ариадны Сергеевны Эфрон Анастасии Ивановне Цветаевой (1943-1946)

Когда в июне 1939 года Марина Цветаева возвратилась на родину, ей не суждено было встретиться с сестрой: Анастасия Ивановна Цветаева была арестована еще 2 сентября 1937 года.

Поэтому так много пишет Ариадна Сергеевна сестре матери о том, какой была мать после возвращения на родину, об ее привычках, о последнем общем пристанище семьи Цветаевых — Эфрон — «даче» в Болшеве.

Отвечает Ариадна Сергеевна и на вопросы о жизни Марины Цветаевой в Чехии и в Париже. Ведь рассталась А. И. Цветаева с сестрой в мае 1922 года, и за время недолгой встречи в Медоне в сентябре 1927 года она, конечно, много не смогла узнать об ее жизни. Аля же всю жизнь (до ареста) прожила рядом с матерью.

После ее смерти год она молчала, потому что не могла говорить о ней ни с кем чужим, только перед «маминой Асей», объединенная общей скорбью, смогла раскрыть душу.

Письма А.С.Эфрон написаны в лагерях, часто очень слабым карандашом, на плохой бумаге. Они совершенно истерты на сгибах страниц и подчас разорваны. Ряд кусков текста совершенно утрачен.

Наиболее трудные тексты (письма от 5.X и 20.X.44, письмо без даты (1944) и письма от 6.I и 1.IX.45) подготовила к печати молодая архивистка И. В. Упадышева.

Письма А.С.Эфрон к А.И.Цветаевой печатаются по оригиналам, хранящимся в РГАЛИ (ф.1190, оп.3, ед.хр.282).

Однако в этом фонде отсутствует письмо от 1.X.43. Текст этого письма восстановлен по копии, сделанной А.И.Цветаевой в недатированном письме к Б.Л.Пастернаку (1945?) (РГАЛИ, ф. 1334, оп.1, ед.хр. 832).

[1 октября 1943 г.]¹

Асенька, родная моя, твое письмо мне передали на рассвете, было еще слишком темно, чтобы его прочесть, и я шла 3 кил<ометра>, держа его в руке, как птенца, радуясь, как безумная, что раз письмо, значит, ты жива. О маминой смерти я узнала так же, как и ты!²

Так же писала и писала без конца, и муж³, и Лиля отделялись неопределенными, но правдоподобными фразами, пока наконец не написали мне все. На все это, Ася, слов нет. Будут ли когда-нибудь — не знаю. Знаю только одно — все выстраданное, разбитое, исковерканное, все оказалось ерундой. Осталось одно-единственное неисправимое, неизлечимое, неискоренимое горе — мамина смерть. Она со мной, во мне, всегда — как мое сердце.

А еще потом я получила ее где-то залежавшиеся письма, а ее уже не было в живых, но я не знала этого. В конце августа 41 г. несколько дней подряд мне среди стука и гула швейн<ых> машин нашей мастерской все чудилось, что меня зовут по имени, так явственно, что я все отзывалась. Потом прошло. Это она звала меня. Мы с тобой будем жить и встретимся. По кусочкам, клочкам, крошкам, крупичкам мы соберем, воссоздадим все. В памяти моей — все цело, неприкосновенно. Целый мир. Я расскажу тебе все. Обнимаю тебя. Твоя Аля.

Примечания к письму № 1 от 1 октября 1943 г.

¹ Оригинал этого письма А.С.Эфрон А.И.Цветаевой в РГАЛИ нет. Однако копия его приведена А.И. Цветаевой в недатированном письме к Б.Л.Пастернаку (1945?) (фонд А.Е.Крученых, № 1334, оп. 1, ед. хр. 832, л. 23 об. — 24).

² С начала войны Ариадна Сергеевна не имела вестей ни от кого из близких. Когда же весной 1942 г. переписка с С. Д. Гуревичем (см. примеч. 3) и сестрой отца, Е. Я. Эфрон, возобновилась, он писал ей, что «Марина осуществляет литературную поездку по стране». Елизавету Яковлевну же просил в письме от 24.V.42 не сообщать Але о гибели матери: «Я считал бы, что не надо сейчас подвергать Алю еще одному душевному удару (...) Аля не может не быть человеком с повышенной болезненной чувствительностью. Это — семейное, да еще помноженное на невероятное нагромождение несчастий и страданий» (Белкина М. Скрещение судеб. М., 1988. С. 438). Однако в ответ на настойчивые просьбы племянницы Е.Я.Эфрон открыла ей правду. Письмо это Ариадна Эфрон получила 12.VII.43.

³ *Самуил Давыдович Гуревич* (Муля; 1904-1952, расстрелян) — переводчик и журналист. Работал секретарем правления Журнально-газетного объединения, а затем заведовал редакцией журнала «За рубежом».

5 октября 1944 г.*

Родная Асенька, мое к Вам письмо постигла неприятная участь, его украли вместе с бумажником у товарища, к<отор>ый должен был его отправить. Очень жаль, т. к. писала его долго, подробно, каждый день понемногу. А времени так мало, оттого что день

все короче, а с освещением дело обстоит (2 слова утрачены), трудно писать.

Пишу сейчас в перерыв на работе, наспех, главным образом, чтобы сказать Вам, что получила Ваше письмо, 2 открытки и телеграмму ко дню рождения¹ (получила ее 20 сент<ября>). Но все (утрачены 2,5 строки) чувствую себя лучше, чем в первое время, после болезни поправилась (1—2 слова утрачены). Работаю по специальности² (2—3 слова утрачены), ем до одури, потому что (утрачено 1,5 строки) вороны. Но думать (1—2 слова истерты) не творчески, то (1 слово истерто), как облака, мысли помимо ума, знаете? И все о том же, о тех же, о той же. Жаль мне украденного письма, там все о ней. А о ней нельзя так просто писать, нужно сосредоточиться, взяв голову в руки, и немного побормотать про себя, и быть по возможности одной, и чтобы свет.

Писем не получаю ни от кого, давно. От Мура за все время получила одну коротенькую записочку, четыре с лишним месяца назад³, с тех пор ничего. Что с мужем, не знаю. Последнее письмо от него получила 4 июня, а мои к нему письма мне возвращаются. Лиля и Зина молчат. Все тревожит, все заставляет предполагать самое страшное, и сны снятся только противные. Я теперь ничего не знаю, со смертью мамы все для меня утратило прочность.

(2 слова утрачены) — она спрашивала про Вас все время, где Вы, почему Вы уехали⁴, хотела Вам написать. Известие о Вашем (1 слово утрачено) очень ее огорчило — я не писала (1—2 слова утрачены), рассказала, как она (1—2 слова утрачены). Она очень ждала встречи с Вами. Так же она была поражена вестью о смерти Мандельштама⁵ — мы узнали об этом незадолго до ее приезда. Она приехала иная, чем я ее знала. Она рассталась с молодостью сознательно. Стала ходить в более темных, чем раньше, платьях, низко и некрасиво повязывать на почти седых волосах косынку, носить очки. В ней была осторожность кошки, принюхивающейся к чужой квартире, — так она принюхивалась к нашей великолепной большевской даче⁶, к нам самим.

Не то что осторожность — недоверчивость. Еще в ней была какая-то величайшая, непривычная нам тишина. Тихо она приехала, тихо встретилась с Сережей, тихо, без слов и без слез, проводила меня в августовское утро, когда я уехала из Болшева⁷. Она была со мной все время, пока я собиралась в дорогу, сидела на постели напротив меня, бледная и очень тихая. Она знала, что мы больше не встретимся. Я не ожидала, что меня мобилизуют⁸, думала, что скоро вернусь, мы даже не поцеловались на прощанье. Она с (2 слова утрачены) мне: «Плохо ты прощаешься, Аля⁹ (2 слова утрачены)», ответила: «Я скоро приеду, не надо (1 слово утрачено) прощаться».

В Болшеве у нас были хорошие вечера. Включали радио, смотрели привезенные мамой книги с иллюстрациями, слушали ее рассказы про то время, что она провела без нас. Ложилась она спать поздно, зажигала настольную (подарок моего мужа) лампу,

читала, грызла какое-нибудь «ублаженье». Читала, склонив голову набок, немного прищулив левый глаз, и сама говорила, что похожа на деда (т. е. на своего отца) — он тоже так читал. Какое совпадение с Вашим сном, где она так похожа на свою мать. Как только я узнала о ее смерти, у меня в памяти всплыла фотография бабушки в гробу (Вы, несомненно, помните этот портрет). Я никогда его не вспоминала, а тут немедленно замкнулся какой-то круг. Я вспомнила то спокойное лицо и эту тишину.

Книги, которые она прочла или перечла при мне: «Замок» и «Процесс» чешского замечательного писателя Кафки¹⁰. Она говорила, что эти книги (1—2 слова утрачены) ей несчастье, каждый раз, что она ни перечитывает их, что-нибудь случается нехорошее. «Портрет Дориана Грея»¹¹, одну из книг Колетт¹² и книгу Евы Кюри о Марии Склодовской-Кюри, открывшей радий¹³. Все это осталось в сердце с незабвенным аккомпанементом привезенной Муром модной песенки о бродячем певце с припевом: «Веревка меня от жизни спасла» — сумасшедшая была песенка. Скоро еще напишу, пока очень крепко целую тебя и Андрюшу.

Аля

* Курсивом набраны слова, обведенные А.И.Цветаевой чернилами поверх стершегося карандашного текста. Так же обведенные слова будут обозначаться и в дальнейшем.

Примечания к письму № 2 от 5 октября 1944 г.

¹ Ариадна Сергеевна Эфрон (Аля; 1912-1975) родилась 5/18 сентября.

² По словам лагерной подруги А.С. Эфрон Т.В. Сланской, в конце 1943-го — начале 1944 г. за упорный отказ стать стукачкой А.С. Эфрон была отправлена в штрафной лагпункт в Коми АССР. Там были настолько тяжелые условия, что редко кто выживал: работали на лесоповале от темна до темна без выходных на скудном пайке. У А.С. Эфрон началось обострение туберкулезного процесса, она сильно кашляла и резко похудела. Чудом удалось ей послать весть об этом мужу, чудом ему удалось добиться ее перевода в Мордовию (Потьма), где она стала работать по росписи деревянной посуды.

³ В фонде М. И. Цветаевой (РГАЛИ) сохранилось письмо Г. Эфрона к сестре от 17 июня 1944 г.

⁴ То есть о причинах ареста.

⁵ *Осип Эмилевич Мандельштам* (1891-1938) погиб в пересыльном лагере под Владивостоком 27 декабря 1938г.

⁶ На подмосковной станции Болшево, в поселке Новый Быт, дача 4/33 в феврале — марте 1938г. на казенной даче были поселены С. Я. Эфрон и его дочь, в июне 1939 г. туда приехали и М. Цветаева с сыном.

⁷ То есть была арестована на большевской даче. Об этом пишет А.Эфрон в письме В.Н.Орлову от 28.VIII.74: «Сегодня — первый день на тридцать шестой год с того 27 августа, когда я в последний раз видела своих близких; на заре того дня мы расстались навсегда; утро было такое ясное и солнечное — два приятных молодых человека в одинаковых [«костюмах»] с одинаково голубыми

жандармскими глазами увозили меня в сугубо гражданского вида [«эмке»] из Болшева в Москву; все мои стояли на пороге дачи и махали мне; у всех были бледные от бессонной ночи лица. Я была уверена, что вернусь дня через три, не позже, что все моментально выяснится, а вместе с тем не могла не плакать, видя в заднее окно машины, как маленькая группка людей, теснившаяся на крыльчке дачи, неотвратимо отплывает назад — поворот машины, и — всё» (Эфрон А. А душа не тонет... М., 1996. С. 383).

⁸ Речь идет об аресте.

⁹ Ср. запись М.Цветаевой об аресте дочери: «Разворачиваю рану. Живое мясо. Короче:27-го в ночь; к утру, арест Али. — „М<осковский> У<головный> Р<озыск>. Проверка паспортов”. Открываю — я. Провожая в темноте (не знаю, где зажиг<ается> электр<ичество>) сквозь огромную чужую комнату. Аля просыпается, протягивает паспорт. Трое штатс<ких>. Комендант <...>: „А теперь мы будем делать обыск”. (Постепенно — понимаю.) Аля — веселая, держится браво. Отшучивается. Ноги из-под кровати, в узких „ботинках”. Ноги — из-под всего. Скверность — лиц: волчье-змеиное. „Где же В<аш> альбом?” — „Какой альбом?” — „А с фотокарточками”. — „У меня нет альбома”. — „У каждой барышни должен быть альбом”. (Дальше, позже: „Ни ножниц, ни ножа...” Аля: „Ни булавок, ни иголок, ничего колющего и режущего”. Книги. Вырывают страницы с надписями. Аля, наконец со слезами (но и улыбкой): „Вот, мама, и Ваша Colett поехала! (Взяла у меня на ночь Colett „LaMaison de Claudine”.) Забыла: последнее счастливое видение ее — дня за 4 — на Сельскохозяй<ственной> выставке, «колхозницей», в красном чешском платке — моем подарке. Сияла. Хочет уйти в „босоножках” (подшвы на ремнях) — Муля убеждает надеть полуботинки. Нина Ник<олаевна> (Клепинина. — В.Ш.) приносит чай и дает ей голубое одеяло — вместо шали. Всех знобит. Первый холод. Проснувшийся Мур оделся и молчит. Наконец слово: „Вы — арестованы”. Приношу кое-что из своего (теплого). Аля уходит, не прощаясь! Я: „Что ж ты, Аля, так ни с кем не простившись?” Она, в слезах, через плечо — отмахивается» (Швейцер В. Быт и бытие Марины Цветаевой. М., 2002. С.470 — 471).

¹⁰ *Франц Кафка* (1883-1924) — австрийский писатель, родился и жил в Праге. М. Цветаева писала В.Л. Андрееву 4.ХП.37 в трагический для нее период вскоре после того, как 10.Х.37 С.Я. Эфрон вынужден был бежать из Франции, как ей пришлось пережить обыск в доме, допросы в полиции; после того, как в парижской прессе появились порочащие Сергея Яковлевича статьи, многие соотечественники стали ее избегать: «Если можете — достаньте где-нибудь *le Proces* — Кафка (недавно умершего изумительного чешского писателя) — это я — в те дни. А книга эта была последняя, которую я читала до. Читала ее на Океане — под блеск, и шум, и говор волн, — но волны прошли, а процесс остался. И даже сбылся <...> Что С<ергей> Я<ковлевич> ни в какой уголовщине не замешан, Вы, конечно, знаете» (Цветаева М. Собр. соч. Т. 7. С. 648). Для Цветаевой несомненна аналогия положения ни в чем не повинного героя романа, преследуемого и гибнувшего, с положением С.Эфрона.

¹¹ Роман английского писателя *Оскара Уайльда* (1854-1900).

¹² *Габриель Сидони Колет* (1873-1954) — французская писательница. В августе 1939 г. М.Цветаева читала книгу Colett «*La maison de Claudine*» («Дом Клодины»).

¹³ *Ева Кюри* (р. 1904) — писательница, журналистка, дочь нобелевского лауреата Марии Склодовской-Кюри (1867-1934), автор книги «*Madame Curie*» (Paris: Gallimars, 1938). В письме от 3.Х.38 М. Цветаева писала А.А. Тесковой: «Прочтите книгу <.....> *Eva Curie — Madame Curie*, лучший памятник дочерней любви и человеческого восхищения» (Там же. Т. 6. С. 463).

20 октября 1944 г.

Родная Ася, Ваши открытки и письма получаю хотя и с опозданием, но регулярно. Вчера получила... июльскую открытку. Пишу Вам постоянно, надеюсь, что хоть теперь мои письма доходят до Вас. Письмо с Вашим силуэтом до меня еще не дошло¹. С каким трогательным терпением Вы пишете мне! Так мне, терпеливо и упрямо, писала мама, долго не получая от меня ни слова, пока не наладилась наша связь. У меня тоже нет ни строчки ее, я оставила ее письма и фотографии у подруги на Севере, боясь растерять все в долгой дороге, и хорошо сделала. Как она одета на той фотографии, что у Вас?

Если в полосатой вязаной кофточке с открытыми руками, то это снимок приблизительно того времени, когда Вы гостили у нас. Мне столько нужно написать о ней, что не знаю, за что хвататься. О ее смерти мне сообщили (1 строчка утрачена — истерлась). Мне писали, что она (половина строки утрачена) писательским турне в прифронтовую полосу², я верила. Но меня тревожило ее молчание, она никогда не оставляла меня так долго без писем.

В конце августа наша швейная мастерская переехала в новое место, там было очень хорошо, сплошные березы, простор. Новые, пахнущие смолой цеха. Я шила на конвейере. И вот кто-то, терпеливо и упрямо, стал окликать меня по имени: «Аля, Аля!» Я сперва откликнулась, потом, убедившись, что галлюцинирую, перестала отвечать, даже когда над самым ухом звал кто-нибудь реальный. Это было в последние дни августа, когда смерть гналась за ней.

Потом прошло совсем. Я вспомнила об этом зове через год, когда наконец добилась от Лили и мужа правды. Лили писала, что мама умерла после короткой болезни, муж коротко сообщал о ее смерти и еще: «Мур отметил это место. Кончится война, мы поедem с тобой туда». Чудесное письмо написала мне моя подруга. Нина³, очень любившая маму. И мама ее любила. Она писала о том, что чувствовала, что не заслуживала этой любви, она такая маленькая и незаметная. Она постоянно действительно помогала ей, когда мама осталась одна, т. е. только с Муром.

Мой муж и Нина всячески старались ее удержать в Москве, отговаривали от эвакуации. В последний ве<чер> в Москве Нина случайно зашла к ней. Она была в полубезумном состоянии, только что поссорилась с Муром, к<отор>ый не хотел ехать. Укладывала в чемодан какие-то грязные тряпки, пихала все ненужное, что попадало под руку. Зашли еще две какие-то женщины (примерно 3 слова истерты) не знала. Они все начали (истерто слово) уговаривать не ехать, убеждали; убедили нако<нец>. Нина сговорилась с мамой о том, что следующий вечер проведут вместе. А утром мама с Муром уехали. Все вещи мама отдала кому-то, каким-то незнакомым людям. Смерть гналась за ней. Я не знаю ничего о ее днях в Чистополе и Елабуге, кроме того, что ты написала мне со слов Бориса. И вместе с тем я знаю все. Потому что я ее знаю, как будто бы сама родила ее. Своим нутром, сердцем, кожей, костями, плотью и душой, каждой кровинкой знаю ее лучше и глубже, чем она сама себя знала.

(Край листа оборван, начало текста отсутствует) особенно остро, вспо<минаю> ее смерть перед сном, совсем засыпая, и тут же просыпаюсь от ужаса, какой-то

нечеловеческой жалости, и рано утром, только открою глаза. Вы пишете, что Мур лицом на нее похож, а я душою. Нет, Ася. Душа у нее была страстная, творческая. А я тихая, и не творчество у меня, а восприимчивость. Восприимчивость огромная, еще усугубленная этими годами жизни в себе. Вот когда я ее окончательно осознала. Я очень прошу Вас, Ася, пережить это тяжелое время, дожить до нашей встречи. Я решила жить во что бы то ни стало.

Моя жизнь настолько связана с ее жизнью, что я обязана жить для того, чтобы не умерло, не пропало бесповоротно то ее, то о ней, что я ношу в себе. Вы пишете — страшно осиротеть под старость. И мне страшно мое сиротство. Все расширяется — именно расширяется, а не сужается — круг одиночества. Но я много унаследовала от нее и качеств, и недостатков. (Примерно полстроки утрачено) за мой характер, за ее щедрость, и <боятся> за ее скорую и злую реплику.

А сколько я должна Вам рассказывать о ней. С тех пор, что я ее помню (а как ни странно, я помню ее не только со свое<го>, но и с ее детства!), как сильно в ней было чувство смерти. Помните ее ранние стихи к Марии Башкирцевой⁴, Ане Калин⁵, и так — через всю ее жизнь. Ее отклики на смерть Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Рильке, Блока, Брюсова, Белого, «Живое о живом»⁶. Немедленная реакция всего ее существа на каждую смерть. Как она страдала о брате Андрее! А когда я ей из Москвы написала о том, что умерла Сонечка Голлидей, — помнит<е>, она отозвалась взволнованными письмами и написала о ней большую вещь, которую не успела мне прочесть.

О, какая необычайно тихая приехала она к нам в Болшево — я Вам писала об этом. Она казалась кроткой, как Вы. Как меня мучает сознание того, что я больше никогда не обниму ее крепко, не поцелую ее рук («у меня руки моего отца», — говорила она) — немного квадратной формы, с коротко остриженными ногтями, огрубевшие от работы, терзает меня.

Асенька, здесь большой перерыв в письме, сегодня уже 26ое. Кончаю наспех. Вкратце о себе и своих делах. Я должна была быть в Москве уже в июле⁷, но поездка моя откладывается или отменяется совсем. Последнее письмо от мужа получила 4 июля, он, видимо, уехал к Сереже⁸. От Мура писем не получаю с весны. Лиля и Зина не пишут совсем. Обо мне не беспокойтесь, я жива и здорова. Поправилась после болезни. Работаю по специальности, отношение ко мне хорошее. (3 строки текста утрачены, истерты. Далее текст частично восстановлен поверх написанного рукой А.И.) любим друг друга

(два слова утрачены) очень прошу Вас беречь себя, такую нам всем оставшимся в живых необходимую. Я Вам буду кофты вязать, носки и чулки, я уже готовлю Вам всякие подарки, как маме готовила.

Планов у меня на будущее никаких нет, конкретно ничего себе не представляю (полстроки утрачено). Пришлите мне на всякий случай адрес Андрюши.

Люблю.
Ваша Аля

Примечания к письму № 3 от 20 октября 1944 г.

¹ См. недатированное письмо А.И.Цветаевой Е.Я.Эфрон на маленьком (в 1/3 почтовой открытки) листочке (Нева, 2003, № 3).

² См. примеч. 2 к письму А.С.Эфрон А.И.Цветаевой от 1.X.43.

³ Ср. воспоминания Н.П.Гордон (Гордон Н.П. Меня она покорила сразу простотой обращения // Марина Цветаева в воспоминаниях современников: Возвращение на родину. М., 2002. С. 5 — 16).

⁴ *Мария Константиновна Башкирцева* (1860-1884) — талантливая русская художница, не дожившая нескольких дней до 24 лет, автор «Дневника», изданного посмертно и выдержавшего множество изданий на различных языках. Первый сборник стихов М.Цветаевой «Вечерний альбом» открывается словами: «Посвящаю эту книгу блестящей памяти Марии Башкирцевой» — и сонетом «Встреча», также ей посвященным. К ней также обращено стихотворение «Он приблизился, крылатый...» (1912).

⁵ *Анна Самойловна Калин* (1896-1984) — гимназическая подруга сестер Цветаевых. Однако А.С. Эфрон ошиблась: в стихах, ей посвященных: «Эльфочка в зале» и акrostихе «Акварель», тема смерти отсутствует.

⁶ Непосредственным откликом на смерть собратьев-поэтов были: посвященные «австрийскому Орфею» Райнеру Марии Рильке (1875-1926) поэтический реквием-поэма «Новогоднее» и очерк «Твоя смерть» (оба — 1927); написанный сразу после гибели Владимира Владимировича Маяковского (1893-1930) одноименный цикл из семи стихотворений; также семь стихотворений (1921), написанных сразу после смерти Александра Александровича Блока (1880-1921); мемуарные очерки: «Герой труда» (1925), посвященный Валерию Яковлевичу Брюсову (1873-1925), Андрею Белому (1880-1934) — «Пленный дух» (1934) и Максимилиану Александровичу Волошину (1878-1932) — очерк «Живое о живом» и стихотворный цикл «ICI — HAUT» (оба — 1932). Пушкину М. И. Цветаева посвятила в молодости стихотворение «Встреча с Пушкиным» (1913), а в 1937-м опубликовала цикл из шести стихотворений «Стихи к Пушкину», мемуарную прозу «Мой Пушкин» и статью «Пушкин и Пугачев». Ни стихотворные, ни прозаические произведения, посвященные М. Ю. Лермонтову, не известны.

⁷ Срок пребывания А. С. Эфрон в лагере истек в августе 1947 г. Непонятно, почему она надеялась на досрочное освобождение в июле 1944 г.

⁸ То есть арестован.

22 декабря 1944 г.*

Родная Асенька, от Вас около 2 месяцев не было писем, делалось жутко. Сегодня получила сразу три. Получила письмо из Куйбышева с маминым перерисованным портретом¹, изумительно схожим.

Только вчера писала Вам о том, что тот — мамин Ваш силуэт из апрельского письма² — единственное изображение Вас и мамы, и то — тень. Спасибо за все.

Напрасно сердитесь на поверхностность моих писем. Узнав о смерти мамы, я целый год молчала, я не могла об этом говорить, и сейчас тоже непобедимо трудно. В моих детских воспоминаниях я не одна, там и она, и вы все, а когда я одна, приближаюсь к ее последнему одиночеству, то ужас и непреодолимая боль и волосы на голове шевелиться начинают.

То, давнее, отстоялось, это — кипит, и вновь и вновь обжигаюсь по самое сердце, когда пишу Вам про то последнее, что мне известно. С получения Вашего первого сюда письма писала Вам по два раза в месяц (больше некогда — надеюсь, что все дошло).

Пишу обычно без разбора, все, что вспоминается. К маминому портрету мне сделают рамку. Та карточка 39го года, что Вам послали, немосковская, она привезла их с собою (паспортные), очень неудачные и карикатурно-непохожие (или карикатурно-похожие).

Она была вовсе не такая. Я уже писала много раз Вам о поразительной молодости ее облика. Возраст сказался только в отяжелевшем овале, даже не отяжелевшем, а закруглившемся (одно из редких прежних «кокетств» — это чтобы лицо было худое; ей не нравилось, что овал — круглый, и даже когда-то глотала какие-то пилюли, чтобы похудеть, а сама всегда была такая же тоненькая, египетский мальчик).

Глаза были по-прежнему яркие, молодые губы. Волосы с сильной проседью, с косым пробором, подстриженные под мочку (к<отор>ой, помнишь, не было?) ушей. Сильно седесть начала с 34 — 35го года. Когда мы встретились в Москве, ее седина меня не поразила, значит, она сравнительно с мартом 1937 г.³ не поседела. О ее приезде и нашей встрече писала Вам несколько раз.

Писала и о том, что в Москву она приехала, простившись с молодостью, да и не только с этим, а и со всем тем. Это не было «до свиданья», а именно — «прощай» и «прости». Стала носить очки, которые раньше только вовремя работы (слово утрачено) чтения носила. Некрасиво низко на лоб повязывала выцветшую косынку. (Ту женщину, о которой пишет Борис⁴, не узнала, я уверена, только из-за близорукости. Она всю жизнь даже хороших знакомых не узнавала часто, а тут, в этом хаосе!

Нет, Ася, знайте раз и навсегда, что она была в здравом уме и твердой памяти. Исстрадалось сердце, порвались нервы, но голова всегда оставалась ясной. И в ту самую минуту.) Перед уходом из Елабуги она написала Сереже, и мне, и Муру отдельно. Мы с Сережей не получили⁵.

Хранилась записка у Мура, где она теперь — не могла добиться ни у Мура, ни у мужа. Муж ее читал, он нам расскажет. Рукописи ее целы пока, и ничтожная часть фотографий. Самые живые, ценные у меня пропали вместе с негативами. Она по-прежнему пила черный кофе, курила из некрасивых старых мундштуков, котор<ые> постоянно теряла, вечерами читала в постели и что-нибудь грызла в это время (это у нас называлось «ублаженье» — какой-н<ибудь> изюм, подгнившие яблоки и вообще всякую дрянь). Так и засыпала с книгой, в очках, при свете и с «разинутой пастью»⁶, как говорил С<ережа>. Вставала очень рано — эта привычка началась с того дня, как Мур стал ходить в школу.

Первые дни в Болшеве⁷, пока еще не начала ежедневно работать, ходила как потерянная. Первая работа здесь была для журнала, в котором я сотрудничала⁸, — переводы Лермонтова на французский. Т<ак> <ак> я уехала, это не было напечатано⁹.

Она писала мне, что года через 2 к ней опять обратился редактор, но они с ним, конечно, не сговорились. Она отказалась менять какую-то строфу и не разрешила печатать стихотворение с какими бы то ни было изменениями¹⁰.

Кто был тот человек, к<отор>ый возражал против ее пребывания в Чистополе? Напишите. Все ее письма и карточки оставила на Севере, т. к. знала, что в дороге все порастеряется, и хорошо сделала, т<ак> ч<то> только по памяти могу цитировать *и после рассказать их и письма Мура*.

Я получила первую ее мелко исписанную открытку и заплакала оттого, что радость, *делаясь непривычной, ранит*. В ответ на это она писала¹¹: «*Я от каждого участливого слова, просто от ласковой интонации плачу, даже в общественных местах, давясь слезами, открывая рот, как рыба. А собеседник не знает, куда девать глаза. Глубокая израненность*». *Ася, Вы уже собираетесь бороться с чужими «я» в этой ненаписанной*

книге. По-моему, просто нужно *записывать все, что помним*, что другие помнят о ней, *а*

чужие «я», включая и наши, и так поблекнут по сравнению с ней. Целую. Люблю. Пишу. (Дальше оторвано.)

* На полях пометка А. И. Цветаевой: «надо Лёре», то есть надо отправить Валерии Ивановне Цветаевой.

Примечания к письму № 4 от 22 декабря 1944 г.

¹ Карандашный рисунок, перерисованный А. И. Цветаевой с одной из последних карточек сестры, хранился у Е. Я. Эфрон, впоследствии он мною (Р. В.) был подарен музею М. Цветаевой в Болшеве.

² См. недатированное письмо А. И. Цветаевой в первой части нашей публикации (Нева, 2003, №3).

³ То есть со времени, когда А. Эфрон рассталась с матерью, уехав в СССР.

⁴ Несомненно, имеется в виду Б.Л. Пастернак.

⁵ Е. Я. Эфрон и З. М. Ширкевич, хранившие архив М. Цветаевой, предсмертной записки М. Цветаевой мужу и дочери, по их словам, не видели. Сохранились сделанные рукой З. М. Ширкевич копии трех предсмертных записок: сыну, Н. Н. Асееву и сестрам Синяковым — и копия еще одной записки, начинающаяся словами: «Дорогие товарищи!..» В РГАЛИ (фонд 1190 М. Цветаевой) хранится подлинник письма Н. Н. Асееву и сестрам Синяковым. Письмо воспроизведено по оригиналу с исправлением ошибок, переходивших из издания в издание, в кн.: Эфрон А. С. А душа не тонет... М., 1996. С. 132-133. В предсмертном письме М. Цветаевой к сыну есть слова: «Передай папе и Але — если увидишь, — что любила их до последней минуты, и объясни, что попала в тупик...» (Цветаева М. Собр. соч. Т. 7. С. 709).

⁶ Это выражение связано с домашним прозвищем М. Цветаевой — Рысь: у рыси, естественно, не рот, а пасть.

⁷ См. примеч. 6 к письму от 5 октября 1944 г.

⁸ Для журнала «Revue de Moscou», выходявшего в Москве на французском языке, М. И. Цветаева в июле-августе 1939 г., живя в Болшеве, перевела на французский двенадцать стихотворений М.Ю. Лермонтова: «Сон» («В полдневный жар...»), «Казачья колыбельная песня», «И скучно, и грустно...», «Любовь мертвеца», «Прощай, немытая Россия...», эпиграмма («Под фирмой иностранной иноземец...»), «Родина», «Предсказание», «Выхожу один я на дорогу...», «Смерть поэта», «Опять народные витии...», «Нет, я не Байрон...».

⁹ Из переведенных М. Цветаевой стихотворений были опубликованы лишь три: «И скучно, и грустно...», «Смерть поэта» и «Нет, я не Байрон...» (Revue de Moscou, 1939, №10).

¹⁰ В письме дочери от 23.V.41 М. Цветаева пишет: «...недавно телеф<онный> звонок из „Ревю де Моску“ — у них на руках оказались мои переводы Лермонтова, хотят — Колыбельную Песню, но — „замените четверостишие“ — „Почему?“ — «Мне оно не нравится». И так далее. Я сказала: „Я работала для своей души, сделала — как могла, простите, если лучше не могу“. И всё. Не могу же я сказать, словами сказать, что мое имя — достаточная гарантия» (Цветаева М. Собр. соч. Т. 7. С. 753). А. С. Эфрон считала, что разговор, о котором пишет ее мать, мог происходить с главным редактором журнала «Revue de Moscou» Михайловым (Цветаева М. Письма к дочери: Дневниковые записи. Калининград Моск. обл., 1995. С. 76).

¹¹ Приводим текст письма М. Цветаевой от 23.V.41 (дословно, так как А. Эфрон цитировала его неточно, по памяти: «Переключка. Ты пишешь, что тебе как-то тяжелее снести радость, чем обратное, со мной — то же: я от хорошего — сразу плачу, глаза сами плачут, и чаще всего в общественных местах, — просто от ласковой интонации. Глубокая израненность. Но я — от всего плачу: просто открываю рот, как рыба, и начинаю глотать (давиться), а другие не знают, куда девать глаза». (Цветаева М. Собр. соч. Т. 1. С. 753).

5

Без даты

Дорогая Ася! То, что Мур (от к<оторо>го с весны 1944 г., т. е. с его первых боев или боя, нет известий)¹ в своих письмах и Вам, и мне вместо слова «мама» ставит ее инициалы, можно объяснить только возрастным «интересничаньем» — вроде того, как каждое письмо туда, мне на Север², он писал мне другим почерком. М. б., я жестоко ошибаюсь, м. б., это — подсознательное желание отдалить от себя именно маму, чтобы в памяти возникала не так страшно погибшая мать, а более отвлеченная «М.И.» во всем ее литературном величии. Ему, Ася, очень больно писать «мама».

А еще тут желание казаться «взрослым», писать и говорить о ней наравне с Алексеем Толстым, с Ахматовой³ и пр. Боль свою он несет глубоко в себе, не дает ей подниматься на поверхность, не желает делиться ею ни с кем, знаю это по себе. Одним словом — внешне, — желание казаться интересным, взрослым, подсознательно — боль. Я его ни в чем не осуждаю, так же как и себя не осуждаю за то, что делала и чего не делала в ранней молодости. На то она и молодость, на то она и судьба.

Я знаю только одно, что за все то время, что мы были вместе, он не только очень любил маму, но и очень хорошо умел проявлять эту любовь. С самых ранних лет относился к ней со взрослой чуткостью, чуя ее детским своим сердцем и понимая взрослым умом. Иногда она его шокировала — то недостаточно модной одеждой, то

базарной сумкой, то страстностью (одно слово утрачено) — резкостью в каком-нибудь споре, тем, что все это было недостаточно «прилично» для его дендизма. Он любил, чтобы все было хорошо, красиво, вкусно, комильфо, а этого ведь почти никогда не было! Но он прекрасно понимал, что так оно и должно было быть в нашей семье. В спорах отца с матерью или моих с ней, вообще во время семейных конфликтов, он или становился на ее сторону, или старался успокоить ее.

Никогда не забуду следующего случая: у нас там были друзья, художники по фамилии Артемовы⁴, он и она. Они жили в маленьком домике в Кламаре, у них был садик с черешневым деревом, охотничьи собаки, ирландские сеттеры. Они очень нас любили, мама часто бывала у них, читала стихи.

Мы там проводили целые дни. Однажды возник спор — что лучше, поэзия или живопись, и мама доказывала, страстно и резко, что поэт — выше всех, что поэзия — выше всех существующих искусств, что это — дар Божий, наконец дошли до необитаемого острова, где (мама) «поэт все равно, без единого человека вокруг, без пера и бумаги, все равно будет писать стихи, а если не писать, то все равно говорить, бормотать, петь свои стихи, совсем один, до последнего издыхания» — а Артемова: «художник на необитаемом острове все равно будет острым камнем по плоскому царапать свои картины» — и тут мама расплакалась и сказала: «а все равно поэт — выше!» Мур, молча и внимательно наблюдавший за всем этим, *бросился с кулаками на Ар[темо]ву, крича плаксивым [детским] басом: «Дура! Не смей обижать маму!»* (а потом к маме, припал к ней, обнял. Было ему что-то около семи лет. Такие да и вообще внешние проявления чувств у него были очень редки, он был чрезвычайно сдержан).

Мама его любила больше и иначе, чем меня, но меня любила тоже. Они с Муром (истерто два слова) дружили. Было так: я уехала в марте тридцать седьмого года; папа в октябре или ноябре тридцать седьмого был спешно вызван в Москву. Мама с Муром остались вдвоем, одни, до их приезда в конце июня тридцать девятого. О их жизни тогда я знала по частым подробным их письмам.

Письма эти пропали у меня — [невоз]местимая утрата. Об отъезде (текст истерт — около 6 слов) [расска]жу при встрече. Мамины письма были полны Муром, она всегда очень хвалила его. Постоянно упоминается о внимательности, о том, что всегда помогал по хозяйству, что для него, не выносившего хозяйственных дел, было действительным проявлением любви. Она часто бывала у самых больших наших там друзей, Лебедевых⁵ <...> нам впоследствии удастся (несколько слов утрачено; карандашом А. И.: «совсем стерлось») кусок их жизни. О эти сборы в Москву, продлившиеся около полутора лет! Покупки на сэкономленные деньги одежды для всех четырех, подарков для нас с С<ережей>, терпеливые поиски мест, где дешевле и лучше <...> одиночество. Подрастающий Мур, которому, скрепя сердце и сжав губы, предоставлялась [относительная] самостоятельность.

Он сам ходит по улицам города, сам ходит в кино и театр, по своему выбору покупает и читает книги, журналы, газеты, из Мура постепенно становится Георгием, прощание с молодостью, прощание с городом, начинавшееся прощание с жизнью. О нашей встрече в Москве, о встрече с С<ережей> в Болшево писала Вам много и подробно, письмо — письмо о последнем нашем праздничном — о посещении Сельхозвыставки. Вы всё это должны были давно получить. Был сияющий

августовский день, ослепительные павильоны и фонтаны выставки. В одном из кустарных киосков купили большого кустарного льва. Маме особенно понравился павильон Грузии, некоторые небольшие (Башкирский и т. д.), из животных — овчарки. Она сказала, что все — гораздо лучше Междунар<одной> выставки.

Папа, тогда болевший, чувствовал себя хорошо, мы были все вместе, это был последний радостный день. Через три дня мы с мамой простились навсегда. Сквозь спущенное окно машины я махала рукой до того поворота. Они стояли на высокой террасе дачи, мама, папа, Мур, мой муж, наша приятельница Миля⁶ и те друзья, семья, к<отор>ые жили с нами на даче. Мама стояла в синей кофте, в к<отор>ой спала, в синей линиялой косынке, из-под которой белая прядь, очень бледное лицо. Голова высоко поднята, и глаза сощурены, чтобы лучше видеть. Губы прикушены. Простите за путаность, за конспективность, — нет времени, нет возможности, ничего нет. Могу писать одна <... > — нужно писать многим — когда? Но я очень стараюсь — люблю Вас очень, Ася, Вы все должны понимать. Ловлю каждый случай писать В<ам> хоть по несколько строк наспех.

(Надпись на полях) Чувствую себя неплохо. Еще и еще спасибо за тот портрет. Крепко целую, Аля.

(Приписка А. И.) Маринин мной перерисованный ее лет 26-ти — Алиного детства.

Примечания к письму № 5 без даты

¹ Между строк приписка: «Лиля имела известия от 4.VII. А.Ц.»

² То есть в штрафной лагпункт.

³ Живя в Ташкенте в 1942-1943 гг., Г.Эфрон бывал нередко в доме А.Н.Толстого и одно время посещал А.А.Ахматову. Они ему всячески помогали.

⁴ *Георгий Калистратович Артемов* (1892-1965) и его жена, Артемова (урожд. Никанорова) Лидия Андреевна (1895-1938) В письме В.Н.Буниной от 26.II.34 М. Цветаева пишет: «В Кламаре у насесть друзья Артемовы, он и она (он – кубанский казак и лучший во Франции резчик по дереву. Его работу недавно (за *гроши*) купил Люксембургский Музей. Она — акварелистка» (Цветаева М. Собр. соч. Т 7. С. 266). В. Каверин в романе «Перед зеркалом» вывел Никанорову под именем Лидии Тураевой. На страницах романа появляется поэтесса Лариса Нестроева. Ее образ заставляет нас вспомнить Марину Цветаеву. Во время работы над романом автор беседовал и вел переписку с А.Эфрон, сведения, почерпнутые у нее, отразились в романе в изложении спора о значимости живописи и поэзии: Нестроева говорит, что «недаром сказано: вначале было слово» и что в сравнении с поэзией «всезрительное — второстепенно» <...>, «на необитаемом острове художник — только Робинзон, а поэт — бог» (Каверин В. Избранные произведения. М., 1977. Гл. 10. С. 213). Из разговора с дочерью поэта — упоминание в романе о единственном черешневом деревце перед домом Артемовых.

⁵ *Владимир Иванович Лебедев* (1883 (84)?-1956) — видный деятель партии эсеров, соредатор журнала «Воля России», где много печатали М. Цветаеву, и его жена, *Маргарита Николаевна Лебедева* (урожд. баронесса Спенглер; 1885-1958), — врач. Их дочь *Ирина* (в замуж. Коль; р. 1916) — подруга Али. А. Эфрон в своих «Страницах былого» называет дружбу с ними «единственной по высоте, глубине, простоте, верности и протяженности». По словам А. С., Лебедевы «никогда не

уставали от Марининых бед, нужды, никогда не отстранялись от ее неподъемного таланта и неподъемного характера, всегда радовались ей. Это был единственный дом, от которого Марине был доверен ключ <.> Дружба эта не только длилась без спадов, путь ее шел в гору и достиг наивысшей, дозволенной жизнью точки в самые тяжелые, самые затравленные эмигрантские годы, непосредственно предшествовавшие Марининому возвращению на родину» (Эфрон А. О Марине Цветаевой. М., 1989. С. 204-205). Лебедевым Марина Цветаева, уезжая в СССР, оставила значительную часть своего архива.

⁶ Эмилия Эммануиловна Литтауэр (1902-1941) — соратница С.Я.Эфрона, с 1921-го по 1935 г. жила за границей. После приезда в СССР служила в ВОКСе. В 1939-м была арестована, в 1941-м — расстреляна.

6

6 января 1945 г.*

Дорогая Ася, от Мура *нет известий* с весны, послала о нем запрос. Мои (т. е. Лиля, Зина, муж) пишут редко и как-то безалаберно, ничего толком *от них* <не> *знаешь*. У каждого своя трудная жизнь, и ясно, что мои *распросы о маме*, о том, что от нее осталось, *не*

пробивают толщи ежедневных дел и забот. Вы спрашиваете меня насчет наших отношений с мамой. Брата, так на нее похожего, она любила больше, относилась к нему мягче, чем ко мне. Но меня любила тоже, иначе, чем сына, и иначе, чем когда я была маленькой. Не любила во мне внешнее сходство с тетками — медлительность, лень, склонность к «дешевому» (журналы, газетному чтению), дружбу с бакалейщиками и дворничихами, смешливость и вообще мой смех).

Любила во мне ум, быструю реплику, поэтическое чутье, щедрость, мое рисованье и писанье. Очень многое во мне просто раздражало ее¹. По отношению ко мне, по мере того как я росла, <она> делалась все более деспотичной, ее раздражала моя пробивавшаяся (впрочем, весьма умеренно) самостоятельность. В наших неполадках всегда формально была виновата она, а по-настоящему я, злившаяся, неподдававшаяся, сравнивавшая свою молодость с ее. По настоянию отца я переехала (неразборчиво 1 слово) в 1935 году летом в *опустевшую комнату*². Прожила там (неразборчиво 1 слово) без мамы, она без меня. Отец с мамой уехали. Потом папа оттуда уехал в (1 строка утрачена), отношения по-настоящему не наладились и там. Она *подозре*<вала> во мне то, чего не было, в каждом моем товарище *предполагала* совсем не то.

Родная мама! Я вижу, с каким молчаливым подозрением она оглядывала меня, уныло возвращавшуюся домой с какой-н<и>б<удь> до глупости невинной прогулки! Но это всегда была любовь, принявшая со временем такие формы. Она всегда любила меня, и это всегда была любовь яростная и героическая, ее любовь, которая всегда была *Выше* и больше тех, кого она любила. Ее любовь, отдававшая все, требовала также абсолютного служения, без отклонений и компромиссов, без совместительства. А я, тогда, пыталась совместить свою любовь к ней с дружбой с девчонками и мальчишками, кино, работой, с «самостоятельностью». Она, зная себе цену, презирала во мне мелкую разносторонность. Мне тогдашней мать была не под силу³.

Нужно было самой много выстрадать, чтобы явилась эта огромная сила любви, ей теперь ненужная, попусту сжигавшая меня. На самом деле во всей своей жизни, с тех пор, что я помню себя, у меня была только одна любовь — она. Пусть были затмения, отступления, собственная глупость и молодость — ни отца, ни брата, ни мужа я так не любила, а детей у меня не было и не будет. И она меня всегда любила.

С середины 35го года я стала постепенно готовиться к отъезду. Мама была против, хотя предоставила мне в этом вопросе полную свободу. Я с увлечением занималась общественной работой⁴, писала статьи, много работала. Такая я радовала отца. Мама больше не спрашивала меня, куда я и откуда. Но: по-прежнему, <веря> в мой слух и чутье⁵, она читала мне свои варианты и спрашивала: как лучше, так или так? По-прежнему дарила мне подарки, которые выкапывала в антикв<арных>магазинах и на толкучках, — книги, старинные странные вещи. Все это время я жила дома. Ей очень не хотелось, чтобы я уезжала. Всю зиму 36го года она собирала меня к отъезду. Она связала мне одеяло (Вы не знаете, что она научилась вязать и вязала крючком, и только одеяла!). Это одеяло у меня пропало уже во время моей поездки на Север, и как раз в последних числах августа года ее смерти. Относилась ко мне как к взрослой, чуть издалека. Слишком много чуждого ей было в моем стремлении уехать. «Вот это передашь Асе, только смотри, сама не носи», — сказала мне, передавая мне два платья, черное и голубое. Долго где-то выискивала часы Андрюше, меняла их несколько раз, пока не нашла те, что, по ее мнению, должны были ему подойти. Много народу провожало меня на вокзале. Она стояла в кофточке и берете, связанных ей мной, с кошелкой, в которой принесла последние подарки и еду. Она поцеловала меня и неторопливо три раза перекрестила, вглядываясь в меня ясными близорукими глазами. Вложила мне в руку записку, которая у меня пропала. Там было написано о том, что человек везде и всегда важнее всего, чтобы никогда этого не забывала в новой жизни. «Благословляю тебя и целую». Я уехала 15 марта 37го г., отец приехал ко мне в срочную командировку⁶ зимой этого же года, мама должна была с Муром вот-вот приехать, но это вот-вот откладывалось вплоть до июня 39 года. Мы переписывались с нею постоянно. Многое из ее писем помню. Горда тем, что те мои товарищи, к к<отор>ым она относилась когда-то очень критически, оказались на высоте в то время, ко<гда> она там оставалась одна с Муром. (Матерьяльно в то время они жили неплохо.) Они постоянно общались с ней, помогали, кто чем мог, очень уважали, очень любили. Так же после нашего с отцом отъезда из Москвы оказались действительно на высоте те немногие люди, с к<отор>ыми я была близка, — мой муж (первый и последний), моя подруга Нина⁷, неизменная Лиля⁸, трогательная Зина⁹. Они все очень и действенно помогали, и я считаю, что именно они тогда продлили ее жизнь. «У него золотое сердце», — писала мне мама на север про мужа¹⁰. «Он не только помогал мне, он лез со мной в самое пекло». «В Лиле сосредоточена вся радость нашей семьи». «Твоя Нина — замечательный человек, трогательно и преданно помогает»¹¹. «Мама мне подарила свое кожаное пальто. Аля, за что она меня так любила?» — писала Нина после ее смерти... «Когда я рассказываю маме о тебе, она с гордостью говорит: „Моя порода!“, она очень любит тебя», — писал мне муж, когда она была еще в Москве.

Отец приехал ко мне очень <сл>омленный, много переживший. Со слезами на глазах он рассказывал мне о том, как провожала его мама. Нам с отцом дали путевку в Кисловодск, мы чудесно отдохнули там месяц, отец все время повторял: «вот бы маму с Мурзилком сюда!» Зимой 38го года отец очень серьезно заболел¹². Больница, в кот<орой> он лежал, находилась в двух шагах от моей работы, я бегала к нему по несколько раз в день, проводила у него все вечера, дежурила все ночи. Сжилась с этой больницей, где все сестры и санитарки поголовно были влюблены в отца. Читала ему вслух, лепила из хлеба разных зверушек, ко<торые> ему очень нравились. («На столе у меня — твоя кошечка из хлеба, берегу ее. Пишу тебе глупости»¹³, — писала моя мама в одной из своих открыток в 1941-м г.) Потом он уехал в санаторий в Одессу. Я ездила к нему туда на несколько дней. Мы все ждали маму и Мура, переписывались с ними чуть ли не ежедневно. Поправлялся отец медленно, но выглядел, когда вернулся из Одессы, гораздо лучше. Нам дали дачу в Болшеве, недалеко от Москвы. Дача была чудесная, я Вам много писала про нее, про нашу там жизнь, про маму в Болшеве. Вы, наверное, получили. Писала Вам также и про то, что и отец, и мать очень любили моего мужа. (Мне кажется, что он немного напоминает Вашего Мавр<икия> Ал<ександровича>¹⁴, — напишите мне, если не забудете, любил ли он стихи? Мой муж лучше разбирается в прозе, и тем ценнее его отношение к ма<ме>, правда?) Еще до войны, когда мама и Мур после Болшева жили в Мо<скве на Покровском> бульваре¹⁵, муж писал мне: «Очень часто бываю у твоих, п<ро>извожу у них разный мелкий ремонт мебели, окон, электроприборов, к<оторы>е рассеянный Мур и поэтическая мама сами починить не в состоянии. Зная мою любовь к тебе, мама рассказывает мне о твоём детстве, и я забываю дела и заботы. Твой брат стал необычайно умным красивым юношей и отменным франтом. Мама много и хорошо работает, все понимает и держится молодцом».

Ася, хотела Вам предложить зарисовать по памяти те комнаты, в которых на Вашей памяти жила и работала мама. Я помню с Борисоглебского и по Болшеву. Это ведь очень важно, так мы сможем восстановить и установить, где, в какой обстановке, за каким столом была написана ею та или иная вещь, был прожит ею данный кусок жизни. Мамина комната в Болшеве была небольшая, с большим четырехугольным окном. Налево пружинный матрас на ножках, обитый коричневой материей, стенной шкаф, над постелью — книжные полки, стол—перед окном. Кру<глый> столик в углу — дверь в нашу комнату (направо) (1 слово неразборчиво) печь. Два стула, табу<ретка> (1,5 строки утрачено), она устраивалась на ночь, причем пододеяльника не признавала, ложилась в цветной ночной рубашке, сшитой самой. Чи<тала>, чуть прищуриив левый глаз, и грызла какое-н<и>б<удь> «ублаженье». Так и засыпала со светом и с книгой на груди, а когда папа ночью приходил и гасил свет, она сквозь сон говорила: «Сереженька, я не сплю!»

Вставала очень рано, раз<вод>ила примус, подогревала или варила кофе — запас на целый день. Умывалась, как всю жизнь, до пояса, одевалась (неизменный деревенский лифчик, на вытачках, стягивающий грудь, застегнутый спереди на много пуговиц): на голове — косынка, сверх платья неизменный же фартук, синий, с большим одним карманом, в котором — все, а главное — зажигалки и мундштуки, к<оторые> постоянно терял<а>. Работала всегда с утра. В Болшеве при мне начала

переводы, я Вам писала о них. Готовить теперь она доверяла мне, но иногда и сама что-н<и>б<удь>варила. С нами на даче жила еще одна семья, наши старые друзья¹⁶. Ходили вместе гулять, сидели на террасе или в саду, бес<коне>чно разговаривали. Вечерами приезжал с работы мой муж, заезжала моя Нина, раза два был Журавлев, читал нам Пушкина и Кармен¹⁷, приезжала моя сослуживица, бездарная жур<алистка>, безумная поклонница мамы Лида Бать¹⁸. <Я> уехала 27 авг<уста>, отец — 10 или 20 октября¹⁹. Мама об <это>м отрезке времени писала мало, сжато. Если отца и брата нет в живых, ничего не остается, кроме нескольких ее фраз — о том, как они жили втроем, сбившись в кучку, о том, как ночью на<пу>гала спутанная белая лошадь²⁰, забравшаяся в сад, все сломавшая, сожравшая («белая лошадь — смерть»). Еще <я> привезла маме в подарок живого котенка, нашего, редакционного. С севера я спрашивала о нем, мама ответила, что котенок погиб как-то страшно. «Твой муж расскажет тебе, когда придет. После этого котенка, спавшего в Николкиной (соседский мальчик) колыбели, у меня не будет уже никакого другого!»²¹ Еще писала: «Я тоже читала Лескова²². Купила по случаю полное собр<ание> соч<инений>, все тома разных изданий, но все есть. Буду читать и перечитывать всю жизнь, сколько бы ее ни осталось, потом достанется тебе». Мамины письма цитирую по памяти, только ввевшиеся в память фразы, как они были ею написаны, беру в кавычки. Пока кончаю. Крепко обнимаю, простите за хаотичные письма, написанные всегда урывками, всегда не как хотелось бы. Берегите здоровье.

Аля

* В оригинале, хранящемся в РГАЛИ, отдельные слова и строки нечитаемы. Их удалось восстановить по копии с этого письма, сделанной А.И.Цветаевой для Б.Л.Пастернака (РГАЛИ, ф.1334, оп. 1, ед. хр. 832). Курсивом выделен текст, написанный рукой А.И.Цветаевой поверх плохо читаемого письма А.Эфрон.

Примечания к письму № 6 от 6 января 1945 г.

¹ В письме Н. А. Гайдукевич от 29.IX.34 М. Цветаева пишет: «Аля, прежде всего, „гармоническое существо”, каким я никогда не была и каких я никогда не любила: все в меру: даже ум — в меру, хотя очень умна, но не боевым (моим) умом, а — любезным, уступчивым. Всех (без исключения!) очаровывает. <...> Какая разумная, плавная, спокойная. И — какая умная. И — какая одаренная. И — как чудно вяжет: золотые руки! И как чудно играет с детьми...» И т. д. И т. д. И т. д. Ни одного угла, ни одного остря» (Цветаева М. Письма к Наталье Гайдукевич. М., 2002. С. 76).

² В письме Н. А. Гайдукевич от 24.IV.35 М. Цветаева пишет: «Осенью, постепенно, а в феврале — окончательно ушла из дому моя дочь — не к кому-нибудь, а от меня» (Цветаева М. Письма к Наталье Гайдукевич. М., 2002. С. 88-89). В письме В. Н. Буниной от 11.II.35: «Ушла ”на волю” играть в какой-то „студии”, живет попеременно то у одних, то у других, — кому повяжет, кому подметет...» (Цветаева М. Собр. соч. Т. 7. С. 285).

³ В письме Н. А. Гайдукевич от 29.IX.34 М. Цветаева пишет: «...я ей непереносима: я с моей непохожестью ни на кого и с моим внутренним судом всего, что не ПЕРВЫЙ сорт. Со мной — душевно трудно. И вечные укоры: ни в одном доме <...> (Цветаева М. Письма к Наталье Гайдукевич. М., 2002. С. 77).

⁴ И. В. Кудрова пишет, что А. Эфрон к середине тридцатых годов «...не только стала активисткой в „Союзе возвращения”, но и сумела организовать при нем молодежную группу. И играла в ней видную — если не руководящую роль» (И. Кудрова. Путь комет. СПб., 2002. С. 522).

⁵ Сохранилась книга М. Цветаевой «Молодец» (Прага, 1925) с ее дарственной надписью: «Але — моему абсолютному читателю 7 мая 1925 г.». Впоследствии М. И. приписала: «1925-1935 гг.».

⁶ А. С. не могла прямо рассказать о причинах и обстоятельствах побега отца из Франции. А. А. Саакянц предполагает: «В начале октября события приняли такой оборот, что Эфрон <...> был вынужден бесследно исчезнуть (...) Было это, по всей вероятности, 10 октября» (А. Саакянц. Марина Цветаева: жизнь и творчество. М., 1997. С. 662).

⁷ *Нина Павловна Прокофьева* (по мужу Гордон; 1908-1996) — с ее мужем Юзом — Иосифом Давидовичем Гордон — А. Эфрон была знакома еще во Франции и, приехав в Москву, привезла ему подарки от французских друзей. А вскоре А. С., поступив на работу в Жургазобъединение, оказалась сослуживицей его жены, уже давно там работавшей секретарем М. Кольцова — руководителя Жургазобъединения. Дружба их оказалась пожизненной. Написанные Н. П. воспоминания А. С. Высоко оценивала.

⁸ См. примеч. 2 к письму А. И. Цветаевой А. Б. Трухачеву от 11.VIII.43. М. Цветаева в письме к дочери от 29.V.41 рассказывает: «Вчера была у Лили, она всю зиму болеет (сердце и осложнение на почки, должна есть без соли и т. д.), — месяца два не встает, но преподавание продолжает, группа из Дома Ученых, к<отор>ую она ведет, собирается у нее на дому, и, вообще, она неистребимо-жизнерадостна, — единственная во всей семье, вернее — точно вся радость, данная на всю семью, досталась — ей (Цветаева М. Собр. соч. Т. 7. С. 755).

⁹ См. примеч. 1 к письму А. И. Цветаевой Е.Я.Эфрон от 25.VIII.43.

¹⁰ О Муле — Самуиле Давидовиче Гуревиче — М. И. пишет почти в каждом письме. Например, 22.III.41: «Муля только тобой и жив <...> Он был нам неустанным и неизменным помощником — с самой минуты твоего увода» (Там же. С. 745); 16.V.41: «Муля не только не отошел, но лез (как и Лиля) с нами в самое пекло» (Там же. С. 751).

¹¹ В письме дочери от 18.III.41 М. Цветаева пишет: «С Ниной у нас наст<оящая> дружба, золотое сердце, цельный и полный человек» (Там же. С. 743; Цветаева М. Письма к дочери: Дневниковые записи, Калининград. Моск. обл., 1995. С. 42); от 16.IV.41: «Она прелестная, только жаль, что хвора <...> Буду летом ездить с ней в Сокольники, она все вспоминает, как вы — ездили, и помнит все семейные праздники и вообще все даты» (Там же. С. 750).

¹² Речь идет о тяжелом сердечном заболевании С. Я. Эфрона, диагноз его неизвестен. В 1968 г., когда у Е. Я. Эфрон были сердечные припадки, сопровождавшиеся задыханием и звуками, напоминающими рыдания, А. С. говорила мне (Р. В.): «Это семейное, такие же припадки были у папы, когда он приехал в СССР».

¹³ А. С. цитирует по памяти. Приводим текст письма от 12.IV.43 дословно: «... среди моих кровей (пишу тебе глупости) хранится твоя хлебная кошечка с усами».

¹⁴ См. примеч. 18 к письму А. И. Цветаевой Е. Я. Эфрон от 12.XI.43.

¹⁵ Покровский бульвар, д. 14/5, кв. 62.

¹⁶ Речь идет о супругах *Клепининых*: *Николае Андреевиче* (1899-1941) и *Антонине Николаевне* (Нине; 1894—1941), их дочери *Софье* (1928—2000) и сыновьях *Антонины Николаевны* от первого брака: *Алексее Васильевиче* (1916-1989) и *Дмитрии Васильевиче* (р. 1922) *Сеземанах*. С 1 февраля

1939 г. с ними жила жена Алексея Ирина Павловна (р. 1921) с новорожденным сыном Николаем (Николкой).

¹⁷ *Дмитрий Николаевич Журавлев* (1900-1991) — известный артист, чтец. Его привозила в Болшево Е. Я. Эфрон. Их связывали дружба и художественное единомыслие. Она была режиссером почти всех его программ. Он мог читать на большевской даче «Египетские ночи», «Медного всадника», «Пиковую даму», отрывки из «Путешествия Онегина» и стихотворение «Осень». В его репертуаре была также новелла Проспера Мериме «Кармен».

¹⁸ Лидия Григорьевна Бать (1900-1980).

¹⁹ Речь идет об арестах. С.Я.Эфрон был арестован 10 октября 1939 г.

²⁰ В письме от 29.V.41 М. Цветаева пишет: «Помнишь огород и белую лошадь, которая в одну из последних ночей все пожрала и потоптала? Как мы ее гоняли! Она была спутанная, страшная, ночь была черная, до сих пор слышу ее топот, Мура тогда подняли с постели, и мы втроем гонялись» (Собр.соч. Т. 7. С. 755)

²¹ Известие о гибели кошек, живших в большевском доме, М. Ц. повторяет в письмах от 10.III, <16.III > и 18.III.41. В письме от 12.IV.41 она пишет: «...у меня после того, твоего, который лазил к Николке в колыбель, уже никогда кота не будет, я его безумно любила и ужасно с ним рассталась. Остался в сердце гвоздем» (Цветаева М. Письма к дочери: Дневниковые записи. Калининград Моск.обл., 1995. С. 61).

²² Об этом М. Ц. пишет в письме от 23.V.41: «...я обменяла своего Брейгеля — огромную книгу репродукций его рисунков — на всего Лескова, 11 томов в переплете <...> Я подумала, что Брейгеля я еще буду смотреть в жизни — ну, раз десять, — а Лескова читать — всю жизнь, сколько бы ее ни осталось. <...> А так — тебе останется, п<отому> ч<то> Мур навряд ли его будет любить» (Там же С. 55 —56).

7

27 февраля 1945 г.

Родная Ася, пишу Вам очень мало и очень наспех, чтобы письмо ушло скорее. Вчера получила наконец после приблизительно двухмесячного молчания Ваше письмо на голубых листочках, пропутешествовавшее безумно долго. Я писала Вам уже о том, что фотографию Вашу молодую, увеличенную, получила давно. Она всегда со мною — беру ее утром на работу и вечером — спать. «Ранние поезда»¹ не получила, но они в прошлом году побывали у меня в руках, и очень недолго, так как книга была чужая. Письма Марии Ивановны насчет мамы² не получала. Спасибо за адрес Бориса — ни от кого, вернее от Лили и Зины, добиться его не могла, а написать очень хотелось. Не читаю ничего — нечего. Там, на Севере, у меня было много книг, главное — были последние мамины напечатанные работы — переводы баллад о Робин Гуде, перевод «Раненого барса» и еще один замечательный перевод с еврейского³. Меня безумно тревожит одно: последние мною полученные мамины письма я оставила перед отъездом с Севера своей подруге, боясь растерять их (и «растеряла» бы непременно). Завещала ей хранить до нашей встречи или переслать, но только с абсолютной

гарантией доставки, Лиле. Получила от нее письмо, где она пишет о том, что мамины письма и фотографии она переслала Лиле уже, видимо, давно, а Лиля их, видимо, не получила, т. к. не отзывается. Лиля с Зиной прошлым летом были на даче, и письма эти могли с ними разминуться и совсем пропасть. С Тамарой моей переписываться очень трудно, т. к. она в постоянных разъездах с передвижным театром⁴, далёко, письма идут долго. Вот уж несколько месяцев не могу толку добиться на этот счет ни от нее, ни от Лили с Зиной.

Ася, от Мура писем нет уже скоро год. На мои запросы отсюда ответа не получила, также и на запросы мужа — или он не хочет его сообщить.

Ася, боюсь, что Мур погиб. Ася, боюсь, что и папы нет. Я знаю, что мама не написала бы так, знаю, что и Вы не признались бы в этом «боюсь». Но я боюсь, боюсь, боюсь за них. И даже не так самой смерти, как мучительной жизни, ей предшествующей, и того, что никто никогда не узнает, никто никогда не поможет. Я маленькая с мамой спала на нашей Борисоглебской кухне — она меня будит ночью и спрашивает: «Папа умер?»

Я не расслышала спросонок и говорю: «Да». Она меня страшно ущипнула я назвала душой, тогда я проснулась окончательно и говорю: «Нет, нет, он жив, я знаю». Мы обнялись и заснули. А теперь, Ася, я не знаю, живы ли они. С маминой смертью я перестала верить в чудо, а ведь это чудо, чтобы они дожили. Асенька, я часто, почти каждую ночь вижу маму во сне, близко и просто. Каждый вечер, засыпая, думаю, только о ней, и это — как молитва.

Вижу и папу, и Мура.

— Знаете ли Вы мамину «Метель»? Это была маленькая пьеса, написанная почти одновременно с «Концом Казановы»⁵. Вот Вам отрывок, с детства уцелевший в памяти:

— «Ну и погода
К Новому Году!» —
«И на погоду
Новая нынче мода...»
«Эх, в старину...» —
«Снег, верно, сахарным был?» —
«Бывало,
Снегом я личико утирала,
Что твоя роза, сударь, цвела!
Странные нынче пошли дела,
Солнце не светит, не греют шубы,
А кавалеры-то стали грубы,
Ихних речей и в толк не возьму!»⁶

Асенька, пора кончать. Это, конечно, не письмо, а записка, наспех, в шуме и гаме, не сердитесь. И не сердитесь, что пишу редко, чаще не получается.

Да, вы спрашиваете насчет Мусиной дочки, она должна приехать вместе со своей тетей, кажется. М<ожет> б<ыть>, удастся забрать ее из детдома⁷ раньше, а если нет, то в августе непременно. М<ожет>б<ыть>, тетя заберет ее к себе — там видно будет.

Работаю много и хорошо. Чувствую себя неплохо. Молю Господа, чтобы он Вас спас и сохранили чтобы мы встретились все. Я Вам, как маме, буду кофты, чулки, варежки и все на свете вязать. Крепко целую и люблю,

Ваша Аля.

Целуйте от меня Андрюшу, Мар<ию> Ив<ановну> и Бориса⁸. Хорошо, что Борис хоть с Вами-то мил. А к маме его было не затащить и на аркане — я не забыла.

Примечания к письму № 7 от 27 февраля 1945 г.

¹ Сборник стихов Б. Л. Пастернака «На ранних поездах». М., 1943.

² *Мария Ивановна Кузнецова* (сценический и литературный псевдоним Гринева; 1895-1966) — близкая подруга А. И. Цветаевой, жена ее первого мужа Б. С. Трухачева. Речь, по всей вероятности, идет о присланной М. И. Кузнецовой копии неизвестного А. И. письма М. Цветаевой от 4.I.10. Это было письмо-завещание семнадцатилетней Марины, решившей покончить с собою из-за несчастной первой любви. А. И. Цветаевой, мучившейся тем, что сестра ушла из жизни, «не окликнув ее», оно было воспринято как весть от Марины.

³ Перевод английской народной баллады «Робин Гуд и Маленький Джон» был опубликован в журнале «Интернациональная литература», 1941, № 6; перевод баллады «Робин Гуд спасает трех стрелков» — в сборнике «Баллады и песни английского народа», М., 1942; перевод поэмы «Раненый барс» грузинского поэта, печатавшегося под псевдонимом Важа Пшавела (муж пшавский, настоящее имя Лука Павлович Разикашвили; 1861—1915), был опубликован в журнале «Дружба народов», 1941, №6; из многочисленных переводов М. Цветаевой с еврейского был опубликован лишь «Библейский мотив» Ицхока Лейбуша Переца (1851-1915) в журнале «Знамя», 1941, № 5.

⁴ *Тамара Владимировна Сланская* (1906-1994). С А. С. Эфрон Тамара Владимировна впервые встретилась, когда их отправляли из Бутырской тюрьмы на этап. А во время следствия ее настойчиво расспрашивали об С. Я. Эфроне и его дочери, пытаясь «сшить дело» о шпионской группе. (Т. В. Сланская работала в 1925-1929 гг. в советском торгпредстве в Париже.) Вместе они проделали долгий, тяжелый путь к Севжелдорлагу, вместе устроились на соседних нарах в лагере на Княж-Погосте. А.С. очень страдала от голода, и Т.В. находила возможность делить с нею свою пайку. В ней, маленькой, хрупкой, были непоказная сила, доброта и благородство. В лагере ее называли «наша совесть». У нее был чудесный высокий голос — перед самым арестом ее пригласили на роль Снегурочки в Ленинградский малый оперный театр. В лагере она работала в театральном-эстрадном коллективе, обслуживавшем всю территорию Севжелдорлага.

⁵ По окончании «Метели» (25 декабря 1918г.) М. Цветаева принялась за пьесу о Джакомо Казанове «Приключение». Однако под названием «Конец Казановы» было выпущено в свет издательством «Созвездие» лишь третье действие пьесы о Казанове «Феникс» (июль — август 1919 г.).

⁶ Отрывок, который не совсем точно цитирует А. С. Эфрон, — начало «Метели», диалог Торговца и Старухи.

⁷ Здесь А. С. Эфрон иносказательно говорит о возможности досрочного освобождения: «Мусиной дочкой» А. С. называет себя, «детдомом» — лагерь, а «тетей» — А. И. Цветаеву (предположение Е. И. Лубянниковой).

⁸ Речь идет о Б. Л. Пастернаке.

8

1 апреля 1945 г.

Дорогая Асенька! Писем от Вас уже очень давно нет. М. б., залежались где-нибудь и придут сразу пачкой (если Вы пишете).

Уже год, что от Мура нет ни одной строчки. Никто от него ничего не получает и о нем не пишет. Посылала о нем запрос, ответа нет. Муж послал повторный запрос (если не врет, чтобы отвязаться). В последнем Вашем письме был адрес Бориса¹, написала ему. Как раз накануне моего отъезда из Москвы он зашел ко мне на работу, мы вышли в скверик, посидели.

Я очень звала его к нам на дачу (уже месяц прошел с маминого приезда, она постоянно, как бы вскользь, спрашивала о нем, я звонила ему, он не шел и не ехал) — он отвечал туманно, неясно, одним словом, «изрекал», но, видно, ехать ему к нам нехотелось². М. б., он боялся боли этой встречи, а м. б., просто. Он лепетал что-то об уважении и преклонении, а на прощанье сказал мне [о] том, что вот я — молодая и счастливая и все у меня впереди. На следующее утро я уехала и не знаю о том, как, когда они встретились с мамой³. Судя по тому, что мама подружилась с Нейгаузом⁴, они должны были и с Борисом видаться.

Мне вспоминается что-то об его, Борисовой, даче, большом огороде и маленьком сыне⁵, но не знаю, не помню, мама ли писала об этом мне, или это было в тот наш последний разговор, Асенька, как безумно жаль всего, что пропало в этой разрухе, из маминых любимых, став<ших> частицей ее вещей, ворохов ее мельчайшим почерком [написанных] писем, фотографий, всего того, что забрала [война] (строка утрачена), как жаль пропавших архивов, рукописей, всего невозстановимого, — о людях не говорю, ибо это вне человеческих слов.

Ася, помните ли мамины [стихи к]о мне, маленькой? Они были напечатаны в ее сборнике «Версты» — (два слова утрачены) еще при Вас. М. б., они у Вас есть? У меня (3—4 слова утрачены) строчки, кроме того, что в памяти. Я на нее не очень полагаюсь, т. к. многие слова заменяются, оказываются не теми.

Четвертый год.
Глаза как лед,

Брови — уже роковые.
Сегодня впервые
С кремлевских высот
Озираешь ты
Ледоход.
— Мама, куда лед идет?
— Вперед, лебеденок,
Мимо мостов, церквей, ворот,
Вперед, лебеденок!
Детский Взор оза[бочен].
— Ты мен[я любишь, Ма]рина? —
Очень.
— Навсегда?
— Да.
— Скоро (одно слово утрачено),
Скоро (одно слово утрачено)
Тебе (одно слово утрачено)
(одна строчка утрачена)
(одно слово утрачено) дерзкие,
Ку[сать] рот.
А лед
Все
Идет⁶.

Это не полностью[ю] — там есть еще строки, но я потеряла их. А еще:

Консуэла! Утешенье!
Люди добрые, не сглазьте!
Наделил второю тенью
Бог меня и первым счастьем...⁷

А еще:

Сивилла, зачем моему
Ребенку — такая судьбина?
Ведь русская доля ему
И век ей — Россия, рябина...⁸

А еще:

А настанет час —
Тоже — дочери,
Передашь Москву
С нежной горечью,
Мне же — вечный сон,
Колокольный звон,

Зори ранние
На Ваганькове⁹.

А это — помните?

— О сколько их уходит в эту бездну,
Разверстую вдали...
Настанет час, когда и я исчезну
С поверхности земли.
Исчезнет все, что пело и боролось,
Любило и рвалось.
И зелень глаз моих, и звонкий голос,
И золото волос¹⁰.

Я писала Вам не раз, Ася, о том, как немедленно и горячо мама реагировала на каждую смерть. Смерть Маяковского, смерть Рильке¹¹, смерть безумно влюбленного в нее юноши Николая Гронского¹², смерть московской подруги Сонечки Голлидей¹³, да и вообще, смерть каждого большого или малого человека вызывала в ней огромную жалость, нечеловеческую тоску живого по ушедшему. Именно ушедшим посвящены и ушедшими вызваны многие ее произведения (да простит она мне это слово, которого не выносила) — стихи и проза.

И какая-то особая русскость, народность ее произведений в том, как она, боявшаяся покойников, привидений, всей жути, связанной со смертью, как она, не религиозная, но суеверная, появлялась там, где умер человек, провожала его (6—7 слов утрачены) горячо, как родная о родном, и (4—5 слов утрачены) близкими, пока не утихала или не находила себе иного русла их боль. Много, много, много мне вспоминается таких случаев. А о тех, кто умер без нее, вдали, она писала как бы им. И подумать только, что сама она так умерла.

Я вспоминаю, однажды у нас, на даче, в Болшеве, мама сидит на своей постели (не постель, а вроде диванчик) и смотрит, близко поднеся ее к лампе (такой же матовый шар, как в вашем детстве), свою ладонь. «А я буду до-олго жить, линия [жизни] у меня опять же длинная», — говорит она нараспев, с оттенком торжества в голосе. «Я вас всех переживу», — говорит она с шутливой улыбкой. Под той же лампой большой неуклюжий подросток, красавец Мур рассматривает иллюстрации в старинной книге об Испании, опершись щекой о ладонь своей похожей на мамину руки. Итак, два профиля, две ладони, мать и сын. Две судьбы. А как она была права! Она будет долго жить, и всех переживет она, умершая, нас, еще живых. Целую Вас, [Асе]нька, и люблю. Надеюсь на скорую нашу встречу. Ваша Аля

Примечания к письму № 8 от 1 апреля 1945 г.

¹ Речь идет о Б. Л. Пастернаке.

² Сохранилась запись Елены Ефимовны Тагер (1909-1981) о звонке к ней Пастернака: «,,...приехала Марина Цветаева, и Каверин (и еще кого-то он назвал — я не помню) сказали, что мне

нельзя, опасно к ней идти. Как быть?» Я, возмущившись: „Как же, Борис Леонидович, — ведь она же ваш друг”. Потом, положив трубку, я поняла, как не обдуман, поверхностен и дешев был мой совет. Какие то были времена! И написала Б. Л.: „Вам не надо ездить к Марине — пока не надо» (Воспоминания о Марине Цветаевой: Возвращение на родину. М., 2002. С. 64).

В письме жене от 10.IX.41 Б. Л. Пастернак писал: «Вчера ночью Федин сказал мне, будто с собой покончила Марина. Я не хочу верить этому <...> Если это правда, то какой же это ужас! Позаботься тогда о ее мальчике, узнай, где он и что с ним. Какая вина на мне, если это так! Вот и говори после этого о „посторонних" заботах, это никогда не простится мне. Последний год я перестал интересоваться ей, она была на очень высоком счету в интел<лигентном> обществе и среди понимающих, входила в моду, в ней принимали участие мои личные друзья, Гарик, Асмусы, Коля Вильям, наконец, Асеев. Т. к. стало очень лестно числиться ее лучшим другом, и по мног<им> друг<им> причинам я отошел от нее и не навязывался ей, а в последний год как бы и совсем забыл» (Пастернак Б. Второе рождение: Письма к З.Н. Пастернак; Пастернак З. Н. Воспоминания. М., 1993. С. 180).

³ На одном из творческих вечеров Давида Самойлова я (Р. В.) слышала его рассказ о том, что он видел в конце 1939 г. Б. Пастернака и М. Цветаеву в приемной директора Гослитиздата П. И. Чагина (в разговоре со мной Е. Я. Эфрон также говорила, что Б. Пастернак «ходил с Мариной» к директору издательства). А 29.I.40 М. И. Цветаева пишет Л. В. Веприцкой: «...один человек из Гослитиздата, этими делами ведающий, настойчиво предлагает мне издать книгу стихов...» (Цветаева М. Собр. соч. Т. 7. С. 669). Б. Пастернак познакомил также М. Цветаеву с заведующей редакцией литературы народов СССР А. С. Рябининой, и она получила заказ на переводы поэм грузинского поэта Важа Пшавелы для антологии грузинской литературы. В журнале «Интернациональная литература» работал давний друг Б.Л. Пастернака Н. Н. Вильям-Вильмонт. С ним связано, по всей вероятности, получение М. И. Цветаевой многочисленных заказов переводов для журнала: болгарских поэтов, ляшского поэта Ондры Лысогорского, немецких народных песен и английских народных баллад и, главное, заказ на перевод «Плавания» Шарля Бодлера.

11.V.40 (как любезно сообщила Е. Б. Коркина) М. Цветаева с Муром были по приглашению Б. Л. на его чтении перевода «Гамлета» в Московском госинституте (так Мур в своем дневнике называет Литературный институт), а потом ужинали с ним у Е. В. Пастернак, жившей во флигеле этого института на Тверском бульваре, и Б. Л. проводил их в Мерзляковский пер., где они ночевали.

Из воспоминаний поэта и переводчика С. И. Липкина (р. 1911) известно, что осенью 1940 г. Б. Л. Пастернак пригласил М. И. Цветаеву на свою дачу в Переделкине, где он устраивал застолье для грузинских поэтов: контакты с ними были для нее полезны, так как она переводила с грузинского. С.Липкин приводит ее слова о том, что она Пастернаку «благодарна за то многое, что он для нее сделал». «...Он ко мне добр, но я ждала большего, чем забота богатого, я ждала дружбы равного» (Липкин С. Вечер и день с Цветаевой // Марина Цветаева в воспоминаниях современников: Возвращение на родину. М., 2002. С. 135).

Б. Л. приходил также в комнатку Е. Я. Эфрон, и, по ее словам, Марина раздражалась тем, что Б.Л. вовлекал в общий разговор ее и З. М. Ширкевич. Но все это были встречи на людях.

Вернемся назад. В письме к Л. В. Веприцкой от 29.I.40 М. И. Цветаева рассказывает; что он, «...бросив последние строки Гамлета, пришел по первому зову — и мы ходили с ним под снегом и по снегу — до часу ночи, — и все отлегло...» (Цветаева М. Собр. соч. Т. 7. С. 670). М. И. Белкина записала зимой 1940 г. рассказ Б. Л. Пастернака о том, как они с Мариной «...до полуночи пробродили по тихим московским переулочкам. <...> Он зверски устал. Он всегда устает от Марины. <...> Впрочем, конечно, как и она от него. Они оба устают друг от друга, они как два медведя в одной берлоге. <...> В письмах у них как-то лучше получалось!..» (Белкина М. Скрещение судеб. М., 1988. С. 28).

В Чистополе зимой 1942 г., постоянно возвращаясь мыслями к гибели Марины, Б. Л. Говорил драматургу А.К.Гладкову (1912—1976): «Я очень любил ее и теперь сожалею, что не искал случая высказывать ей это так часто, как ей это, может, было нужно» (Гладков А. Встречи с Пастернаком //Воспоминания о Борисе Пастернаке. М., 1993. С. 337).

⁴ *Генрих Густавович Нейгауз* (1888-1964) — пианист, профессор консерватории, ближайший друг Б. Л. Пастернака. Имя Нейгауза упоминает М. Цветаева в письмах к дочери, называя его в письме от 24.IX.40 «бесконечно— милым», а в письме от 16.V.41 она пишет: «Я очень дружна с Нейгаузом, он обожает стихи» — и рассказывает об эпизоде, когда ей срочно потребовались большие деньги, чтобы снять комнату, — тогда Нейгауз поехал с нею в писательский поселок Переделкино на дачу Пастернака, и, хотя Б. Л. в этот день на даче не оказалось, Зинаида Николаевна, жена Пастернака, обошла «все имущее Переделкино» и добыла нужную сумму (Цветаева М. Неизданное. Семья: история в письмах. М., 1999. С. 424).

⁵ М. Цветаева писала дочери в письме от 16.V.41: «Борис всю зиму провел на даче, и не видела его с осени ни разу, он перевел Гамлета и теперь, кажется, Ромео и Джульетту и, кажется, хочет — вообще всего Шекспира. Он совсем не постарел, хотя ему 51 год, — чуть начинает сесть. У него чудный мальчик, необычайной красоты, и это — вся его любовь. <...> Огород у него — феноменальный: квадратная верста, и все — огурцы. Я была у него раз на даче, прошлой осенью» (Цветаева М. Неизданное. Семья: история в письмах. М., 1999. С. 424).

⁶ «Четвертый год...» (из цикла «Стихи к дочери», 1916) приводятся с пропуском второй строфы (Цветаева М. Собр. соч. М., 1994. Т. 1. С. 264).

⁷ Приведена первая строфа одноименного стихотворения, 1919 (Там же. Т. 1. С. 484).

⁸ Приведена вторая строфа третьего стихотворения из цикла «Але» («И как под землю трава...», 1918) (Там же. Т. 1. С. 422).

⁹ Неточно приведена четвертая строфа первого стихотворения из цикла «Стихи о Москве» («Облака — вокруг...», 1916) (Там же. Т. 1. С. 268).

¹⁰ Неточно приведены две первые строфы из стихотворения «Уж сколько их упало в эту бездну...», 1913 (Там же. Т. 1. С. 190-191).

¹¹ См. примеч. 6 к письму А. С. Эфрон А. И. Цветаевой от 20.X.44.

¹² См. примеч. 5 к письму А. С. Эфрон А.И.Цветаевой от 16.IX.45.

¹³ См. примеч. 8 к письму А. С. Эфрон А. И. Цветаевой от 20.X.44.

9

15 июля 1945 г.

Родная Ася. Ко мне приезжал муж¹, рассказал про всех, тороплюсь написать Вам: последнее письмо, вернее открытка, от Мура была получена в августе прошлого года. С тех пор известий нет. На все справки, наводившиеся мужем и девушкой, с которой Мур дружил², поступил ответ: «в списках раненых и убитых не числится».

На вербной неделе от крупозного воспаления легких умерла Вера³. Умерла одна, в марийском селе, где находилась в эвакуации. Нюся⁴, бывшая в 20 километрах от нее, не знала. Последнее, что известно о Коте⁵, это то, что после тяжелого ранения в обе ноги он находится на излечении в львовском госпитале. Но с тех пор известий нет.

О маме: место ее смерти и погребения было известно Муру, с его слов известно мужу. Последнее ее письмо, вернее — записка, адресованная папе и мне, находится у Мура. Он взял ее с собой. Муж помнит ее содержание. Все ли ее рукописи целы, муж определить не в состоянии, но все, что ему удалось спасти из когтей Ваших знакомых — Садовских, — находится у него. Решительно все ее вещи и все книги, оставленные мамой на хранение Садовским, были ими распроданы после ее отъезда. В кн<ижных> магазинах Мур находил книги, надписанные ей и ею, но выкупить, конечно, был не в состоянии.

Последние мамины письма, полученные мною на Севере, ее фотографии, письма и карточки Мура целы и находятся у Лили.

Что касается отъезда Марины на Съель⁶, то помог ей в этом не Тренев, а, как говорят, поэт Николай Асеев.

Только что получила от Бориса «Ромео и Ж<ульетту>», «Антония и Клеопатру» и книгу стихов⁷.

С мужем встретила очень хорошо. Ни пропасти, ни даже трещины не прорыло между нами время эти годы. Ася, пишу коротко, чтобы не откладывать долго настоящего письма. Крепко обнимаю и люблю,

Ваша Аля.

Примечания к письму № 9 от 15 июля 1945 г.

¹ М. И. Белкина ошибочно предполагает, что С. Д. Гуревич приезжал к А. С. Эфрон в августе 1945 г. (Белкина М. Скрещение судеб. М., 1988).

² Фамилия этой девушки неизвестна, имя ее — Рая. Она была как-то причастна к театру. В письме к сестре от 27.II.43 Эфрон рисует ее облик: красивая, остроумная, самоуверенная, никого не уважает, но к нему относится как к умному, проницательному человеку и опасается его скептицизма... Он пишет: «Мое отношение к Рае <...> не отличается нисколько от того ощущения, которое я испытал бы, надев шикарный костюм и американские ботинки. Я воспринимаю ее тогда чисто декоративно; она – мое украшение. Подозреваю, кстати, что и она меня воспринимает так же!» (Эфрон Г. Письма. Калининград Моск. обл., 1995. С. 168-169).

³ Речь идет о смерти сестры отца А. С. — Веры Яковлевны Эфрон.

⁴ Близкие никогда не называли старшую из сестер Эфрон, Анну Яковлевну Трупчинскую, Нюсей — всегда Нютей. Вероятно, это описка.

⁵ Речь идет о сыне В. Я. — Константине Михайловиче Эфроне (р. 1921).

⁶ Le ciel — небо (фр.). А. С. Эфрон с оглядкой на цензуру иносказательно передает дошедшие до нее сведения о виновниках гибели матери. Однако, по словам участника собрания, обсуждавшего вопрос о прописке М. Цветаевой, поэта и переводчика Петра Андреевича Семьикина, именитый драматург, лауреат Сталинской премии Константин Андреевич Тренев (1876-1945) возражал против прописки в Чистополе недавней эмигрантки, жены и матери врагов народа. Поэт же Николай Николаевич Асеев (1889-1963), по болезни не пришедший на это собрание, прислал письмо с «некоей цитатой». В 1966 г. в разговоре со мной (Р. В.) вдова Н.Асеева, говорившая о М. Цветаевой грубо и неприязненно, сказала, что в письме мужа была цитата из толстовского «Люцерна», и мне сразу вспомнились слова оттуда: «Вот она, странная судьба поэзии <..> Все любят, ищут ее, одну ее желают в жизни, и никто не ценит этого лучшего блага мира, не ценит и не благодарит тех, которые дают ее людям» (Толстой Л. Н. Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн // Толстой Л.Н. Собр. соч. М., 1948. Т.2. С. 134). В конце жизни Н.Н.Асеев варьирует эту тему в стихотворении «Портреты»: «Зачем вы не любите, люди, своих неподкупных поэтов?» И далее идут строки о горестных судьбах поэтов, тех, которые, «...не сладив с судьбою, / от жизни смертельной обиды / покончили сами с собою».

⁷ В 1944 г. отдельным изданием вышли в свет пастернаковские переводы трагедий В.Шекспира «Ромео и Джульетта» и «Антоний и Клеопатра», в 1943 г. — книга стихов «На ранних поездках».

10

1 августа 1945 г.

Дорогая Ася! Случайно и чудесно попал мне здесь в руки старый альманах «Наши дни» с пастернаковским «Детством Люверс» и волошинскими стихами¹. Я Вам их (стихи) переписала и не сомневаюсь, что Вы им обрадуетесь — там Ваш Крым, Макс и молодость. До этого я получила бандероль со стихами Бориса и двумя книжечками его шекспировских переводов, через два дня — его письмо, а еще через два дня — дали мне «почитать книжку», и эта книжка оказалась кусочком моего детства и маминой молодости — стихи Макса и проза Бориса.

Вы хорошо помните «Детство Люверс»? Мне было лет десять или одиннадцать, когда этот же самый, вернее, такой же самый альманах «Наши дни» оказался в той небольшой комнатке в деревне Вшеноры², где потом родился Мур. «Детство Люверс» читали и папа, и мама, много говорили о нем. Мама считала, что единственная неправильность повести — это возраст Жени Люверс. Там рассказана девочка лет 8—10, но никак не 13—14. А вообще, вещь эта ей безумно нравилась, я это прекрасно помню³. И только теперь, только теперь, с тех пор перечтя ее, я поняла, что, прочтя ее тогда, я все поняла до такой степени по-своему, по-люверсовски, что — ничего не поняла.

В чем же было сходство госпожи Люверс с кухаркой Аксиньей? Я сидела на кровати с поднятыми ногами и читала «Детство Люверс». Мимо прошла мама, и я, совершенно неожиданно и чувствуя (значит, зная, что так — нельзя), спросила: «Мама, отчего вы так потолстели?» — «Оттого, что ты читаешь плохие книги», —

ответила мама и выхватила «Люверс» у меня из рук. Это я прекрасно помню, как и то, что через несколько дней, во время прогулки, мама мне сказала, что у меня будет брат. Только тогда я и узнала, отчего ее полнота, раньше — не знала, но чувствовала, что замечать ее — нельзя.

Вы спрашиваете меня о герое «Поэмы Горы». Звали его — да и по сей день зовут — Константин⁴. Знаю его с 22го или 23го года — тогда он был молодой (приблизительно маминых лет, м.б., чуть моложе), среднего роста, русский, с четким профилем, светлоглазый, красивый. Мать — русская, отец — поляк. Остроумный, с вкрадчивыми, кошачьими повадками, ласковый и чуткий. Как человек — полнейшее ничтожество, всегда подпадавший под влияние более сильных характеров⁵. Я тогда только что приехала, заболев туберкулезом, из интерната⁶, где училась в классе, соответствовавшем 1му классу гимназии, к родителям, жившим в небольшом номере пражской гостиницы возле самой «Горы»⁷, и в самый разгар «Поэмы». Мы часто ходили с мамой на ту гору.

Тогда были написаны «Поэма Горы» и «Поэма Конца»⁸. Я сразу невзлюбила Константина. Он часто бывал у нас, приносил мне шоколадных зверей с розовой начинкой, был ровно мил и остроумен с Сережей и с Мариной. Я что-то чуяла, хмурилась и грубила. А у них были бесконечные прогулки по волшебному городу, у нее были прекрасные лирические стихи, много-много. Она творила Константина по своему образу и подобию, и тогда, пока, он был очень хорош. А потом — «Я взяла тебя из грязи — / В грязь родную возвращаю»⁹.

Потом мы долго не встречались с ним. Родился Мур, которого мама хотела назвать Борисом в честь Бориса, а назвала Георгием в честь Победоносца. Появился Константин в Пари, году в 25м, уже совсем не тот, совсем не герой «Поэмы».

Марина была совсем к нему равнодушна и радушна, я по-прежнему грубила и продолжала грубить до 37го года. Году в 28-29м он женился¹⁰ на очень скучной, скупой и бесцветной поповне, которая заикалась и звала его «к-к-котик». Родила ему дочку. В 34м он разошёлся и с поповной, и с дочкой. Все эти годы он был в неплохих отношениях с Сережей, но маму недолюбливал и побаивался. Перед моим отъездом он сошелся с одной, много раз замужней нашей приятельницей¹¹, с которой проживает и по сей день, по слухам, в гостинице «Альбион». Но я его с 37го года потеряла из виду. Все это очень вкратце. Крепко обнимаю и целую.

Ваша Аля

Примечания к письму № 10 от 1 августа 1945 г.

¹ В альманахе «Наши дни», 1922, № 1 были, кроме повести Б. Пастернака «Детство Люверс», напечатаны стихи М. А. Волошина «Дикое поле» и «Бегство».

² Пригород Праги, где М. И. Цветаева жила с сентября 1924-го до конца осени 1925 г.

³ В письме к Б. Л. Пастернаку от 14.11.25 М. И. Цветаева пишет: «Жила эту зиму “Детством Люверс”, изумительной, небывалой, еще не бывшей книгой» (Цветаева М. Собр. соч. Т. 6. С. 242). «В его гениальной повести о четырнадцатилетней девочке все дано, кроме данной девочки, цельной

девочки, то есть дано все пастернаковское прозрение (и присвоение) всего, что есть душа. Дано все девчончество и все четырнадцатилетие, дана вся девочка вразброд (хочется сказать: враздробь), даны все составные элементы девочки, но данная девочка все-таки не состоялась. Кто она? Какая? Не скажет никто.

Потому что данная девочка — не данная девочка, а девочка, данная сквозь Бориса Пастернака: Борис Пастернак, если был бы девочкой, т.е. сам Пастернак, весь Пастернак, которым четырнадцатилетняя девочка быть не может. (Сбываться через себя людям Пастернак не дает. Здесь он обратное медиуму и магниту — если есть медиуму и магниту обратное.) Что у нас от этой повести остается? Пастернаковы глаза» (Цветаева М. Эпос и лирика современной России // Цветаева М. Собр. соч. Т. 5. С. 381).

⁴ Речь идет о Константине Болеславовиче Родзевиче (1895-1988). По словам М. Цветаевой, (см. письмо к В. Н. Буниной от 22.XI.34), любовь к нему была «...самая сильная за всю жизнь» (Цветаева М. Собр. соч. Т. 7 С. 279). В прошлом у него был уход добровольцем во флот во время Первой мировой войны. Во время гражданской войны он был комендантом Одесского красного порта и одним из командиров красной Нижнеднепровской флотилии, под конец войны попал в плен к белым. В начале 20-х годов уехал в Прагу. В 1923 г. учился одновременно с С. Я. Эфроном в Пражском университете, но на юридическом факультете.

⁵ Встретившись с Родзевичем в 1967 г, в Москве, А. Эфрон восприняла его по-иному. Для нее важно было его антифашистское прошлое: в 1936 г. он командовал в Испании отдельным батальоном интербригады из русских эмигрантов; после крушения Испанской Республики вернулся во Францию и во время оккупации ее фашистами участвовал в Сопротивлении; в 1943 г. был арестован и прошел ряд Гитлеровских концлагерей. Для А. С. он был человеком того «высокого поколения», на долю которого выпали тяготы войн, революций и концентрационных лагерей (см. письма А. Эфрон: Е.Эфрон и З. М. Ширкевич от 7.VIII.67 и П. Г. Антокольскому от 18.VIII.67) (Эфрон А. А душа не тонет... М., 1996. С.310-312.) Она была безмерно благодарна Родзевичу за его живую память об ее родителях (С. Я. Эфрон был его другом), за то, что «...он, сквозь годы войн, германские лагеря уничтожения сберегший Маринины письма и автографы Поэм, прислал их в Россию, в цветаевский архив...» (Эфрон А. Страницы былого // Эфрон А. О Марине Цветаевой. М., 1989. С. 194).

⁶ С сентября 1923-го до весны 1924 г. одиннадцатилетняя Аля находилась в интернате русской гимназии в чешском городе Моравская Тшебова.

⁷ Гора — Петршин-холм в Праге. М.Цветаева называла его Смиховским холмом (от пражского района Смихов).

⁸ «Поэма Горы» (1.I — 1.II.24, Прага) и «Поэма Конца» (1.II, Прага — Иловищи, 8.IV.24).

⁹ Третья и четвертая строки из четверостишия М. И. Цветаевой «Птичка все же рвется в рощу...».

¹⁰ Свадьба Марии Сергеевны Булгаковой (Муны; 1898-1979) и К. Б.Родзевича состоялась в июне 1926 г. Отец ее, Сергей Николаевич Булгаков (1871-1944), был русским религиозным философом и священником. Характеристику М.С. Булгаковой М.И. Цветаева дает в письме А.Э.Берг от 11.VIII.38 (Цветаева М. Собр. соч. Т. 8. С. 528).

¹¹ Речь идет о Вере Александровне Сувчинской (урожд. Гучковой, во втором браке Трэйл; 1906-1987). См. о ней в письме А.С.Эфрон А. И. Цветаевой от 1.IV.46.

25 августа 1945 г.

Моя родная Ася, за последние дни послала Вам три открытки, последнюю из них <в от>вет на полученные мною после большого перерыва. Всего 4: за № 1, 3, 4, 5, с двумя статьями из Пушкинского цикла. Т. к. вижу, что мои письма к Вам плохо доходят, повторю еще раз: выписки из писем Мура и Пастернака получила давно. Копию Муринового письма получила, копию маминого письма 10го года — нет. Впрочем, м.б., они еще дойдут. Копии маминых и Муриных ко мне писем Вам не послала, т. к. их со мною здесь нет. Эвакуируясь с прежнего своего местопребывания, я не захватила их, зная, что в такой дороге рискую все растерять, самое дорогое, и насколько я была права! Я оставила их на хранение Тамаре, своей единственной там подруге, с просьбой (строка утрачена)... им мужу. Она мою просьбу исполнила, и мамины письма сейчас в полной сохранности, сохранней, по крайней мере, я надеюсь, чем у меня. Здесь я получила только одно письмо, Вам его переслала, но Вы, видимо, не получили. Вот оно еще раз:

17.06<1944>¹. Милая Аля! Давно тебе не писал по причине незнания твоего адреса; лишь вчера я получил открытку от Лили, в которой последняя сообщает твой адрес.

26-го февраля меня призвали в армию. Три месяца я пробыл в запасном полку под Москвой, причем ездил в Рязанскую обл. на лесозаготовки. В конце мая я уехал с маршевой ротой на фронт, где и нахожусь сейчас. Боев еще не было, царит предгрозовое затишье в ожидании огромных сражений и битв. Кормят несколько лучше, чем в запасном полку. Погода часто меняется, места — болотистые, много комаров, местность холмистая, есть и леса. Все это — сведения чисто географического характера, но здесь — фронт, и писать подробно, конечно, нельзя.

Физически я чувствую себя неплохо; в запасном полку месяца полтора болел (все — нога), а теперь все зажило; бесспорно, я слабее других в одном — в отношении рук, которые у меня и малы, и не цепки, и не сильны. Пока что работаю по писарской части, но завтра пойду в бой автоматчиком или пулеметчиком. Я абсолютно уверен в том, что моя звезда меня вынесет невредимым из этой войны и успех придет обязательно; я верю в свою судьбу, которая сулит мне в будущем очень много хорошего. Прости за бестолковое — спешное! — письмо. Пиши обязательно. Крепко целую.

Твой брат Мур

Муж, приехавший ко мне в начале июля, рассказал о том, что на все запросы, устные и письменные, его и приятельницы Мура Раечки, получали один и тот же ответ: «В списках убитых и раненых не числится». Последнее письмо от Мура муж получил в августе 1944 г.², с тех пор — ничего. Я тоже надеюсь, Ася, что он жив, так же как и он, надеюсь на то, что судьба ему сулит в будущем много хорошего. И вместе с тем я не надеюсь на то, что встречу с ним. Если он, дай Бог, жив, то жить он будет, вероятно, в столице, к которой привык, где вырос, где жизнь его была по-детски

счастливой. А я — не столичный житель, а завязтая провинциалка. Но — лишь бы он был жив, лишь бы как-нибудь узнать об этом...

О Сереже я совсем ничего не знаю.

Писала Вам о том, что дала переснять для Вас фотографию, привезенную мужем, где Сережа и Константин, герой «Горы», сняты вместе. Как только будет готова, вышлю Вам. Асенька, уже совсем темно, буду завтра продолжать. У моих ног трется и мурлычет рыжий котенок. Всюду, где бы я ни появилась, заводится и котенок. Мамина традиция.

Пастернак мне писал о том, что маму и Мура видел в день и час их отъезда из Москвы, попав случайно³к отчалу их парохода. Он пишет: «Все мы были сумасшедшие в эти дни, мама и я тоже, только у меня была веселая форма этого безумия», — говорит, что должен был встретиться с ними осенью того же года, и действительно оказался в Елабуге через месяц после маминой смерти. Но, как всегда, он очень неконкретен и не отвечает ни на один из моих вопросов, кроме того, что у него болела рука, когда он писал мне.

Еще раз повторяю Вам, что все мамины вещи и вся ее библиотека, хранившаяся у Садовских, которых Вы знаете, были ими проданы после маминого отъезда из Москвы. Слава Богу, они, видимо, не успели продать рукописи, муж, вернувшись из Куйбышева, с величайшим трудом буквально вырвал их у них. Он не мог мне сказать, все ли рукописи целы, т. к. не знает, что там было, и все то, что ему удалось спасти, пока в сохранности.

Вот Вам выдержка из последнего Лилиного письма: «С Мариной (когда мы жили врозь) виделись почти каждый день, отношение ее к нам было очень неровное: то дружественное, нежное, открытое, то она замыкалась, таилась, скрытничала, точно не верила, раздражалась. Мне было трудно после просьб Сережи поддерживать в ней уверениями веру в жизнь и бодрость (что я и делала с самого ее приезда). Теперь я понимаю, что она не принимала и не выносила никаких советов, тогда же я находила необходимым давать их на каждом шагу. Только теперь я поняла, как ранила ими ее. Мы всё понимаем слишком поздно».

Вы меня как-то спрашивали, Ася, — тут меня кто-то перебил, и я забыла, что хотела написать.

Одиночество. С каждым годом возраставшее одиночество среди близких, родных, друзей и просто хорошо относившихся людей, вот что была мамина жизнь в последние годы. Не приходится и говорить о том, что мы ее любили и как мы ее любили. Но все это было и не то, и не так, Асенька. Мы всё понимаем слишком поздно. Она нас любила всех — и тоже не так. Если бы мы все пережили всё это, мы умели бы любить так, как каждому нужно. Но ее нет, и нам остается грызть себе пальцы и собирать оставшиеся: крохи. Каждый из нас приложил все силы — и столько же сверх того, чтобы ей было хорошо. Но ничего не вышло. Асенька, никто из нас ни в чем не

виноват, все это судьба, рок, в который она так верила. И никто никогда не смог переспорить судьбу поэта.

Вы спрашиваете обо мне. Я поправилась, чувствую себя хорошо, легкие в порядке, не в порядке только сердце, но если я от него должна умереть, то, по-моему, это будет не так скоро. Работаю я по специальности, или, как говорят здесь, «художничаю». О природе сказать ничего не могу — я ее совсем не вижу. Я (слово неразборчиво) не выхожу за калитку своей дачи. Зарабатываю достаточно — на карманные расходы остается около сотни рублей. Все лето было молоко, теперь пошла картошка. Окружающие ничего, я ни с кем не дружу. Никогда не скучаю, но тоскую.

Асенька, никакие письма, особенно мои, не передадут всей моей нежности к Вам.

Мне хочется, чтобы Вы знали, что в моих мыслях о прошлом, о настоящем, в моих мечтах о будущем (я не надеюсь, я только мечтаю), — в моих немногих языческих молитвах, — Вы всегда. Берегите себя, Вы нам нужны, мы Вас любим. Я Вам буду, как маме, кофты вязать. Передайте большой привет Андрюше, если можно, пришлите адрес. Я уже давно потеряла тот, что Вы прислали когда-то.

Крепко обнимаю, целую и люблю.

Ваша Аля.

Примечания к письму № 11 от 25 августа 1945 г.

¹ Письмо опубликовано в кн.: Эфрон Георгий. Письма. Калининград Моск. обл., 1995. С.192.

² Как указано Е. Б. Коркиной в комментарии к вышеупомянутой книге: «Через три дня после написания этого письма Г. Э. принял участие в бою <...> и, как записано в книге учета личного состава, „убыл по ранению” 7.7.44. 183 медсанбат, обслуживавший 154 дивизию, в июле — августе 1944 г. не имел возможности вести учет раненых, поэтому сведения о Г. Э. на этом обрываются» (Там же. С.223).

³ Как явствует из мемуарного очерка В. Бокова «Собеседник рош», Б. Пастернак еще за день до отъезда М. Цветаевой приглашал В. Бокова 8.VIII.41 проводить ее в эвакуацию (Марина Цветаева в воспоминаниях современников: Возвращение на родину. М. 2002. С. 173).

12 сентября 1945 г.

Дорогая Асенька. Вчера получила Вашу открытку № 2, отставшую от четырех, полученных мною на днях. Сегодня у меня тоже выходной, как тогда, когда Вы мне писали, только уже сентябрьский день, ясный и холодноватый. Скоро мой день

рождения, между прочим, я всегда стараюсь его праздновать. Каждый год на Рождество устраиваю елку. Это — домашняя, невытравляемая традиция.

В годовщину маминой смерти я видела ее во сне — она сидела за столом, седая и с очень светлыми глазами. Я говорила ей о том, что — как ужасно все умерли и исчезли и я — совсем одна. И стала ее звать через стол, как Мур маленький ее звал: «Мау, Мау»¹. Она встала, сказала: «идем» — и стала с меня — не той, что во сне, а с настоящей, спящей — меня снимать одеяло. Это ощущение — скользящего одеяла — было настолько настоящим, что я проснулась.

Я не писала Вам, кажется, о том, что у меня здесь сохранились кое-какие мамины вещи — а так все ее пропало. У меня — и в данный момент на мне — ее синяя юбка, к<отор>ая все носится. Есть ее, уже состарившиеся, чиненные-перечиненные коричневые полуботинки, к<отор>ые она мне подарила еще в 1936 г., носки, нитяные светло-зеленые в цветную крапинку, потом на моей руке браслет из слоновой кости, который она мне подарила, когда мне было 16 лет; еще есть носовой платок и красная косынка с чехословацкими человечками, привезенная ею мне в 1939 г. Все это берегу и стараюсь доберечь до Вас. В предыдущем своем письме послала Вам копию первого и последнего полученного мною здесь Муриного письма.

Хоть мне и очень жалко, посылаю Вам Мура маленького и себя очень давнишнюю и надеюсь, что дойдет до вас это письмо и, главное, карточка. Не помню, когда и где мы с ним снимались. Судя по моему серому пальто — это Медон, но пальто это я носила долгие годы.

На карточке Муру года три, а медведь — мой, мне его подарили папа с мамой на мой двенадцатый день рождения. Он был в зеленом костюме, связанном Муной Булгаковой², впоследствии женой того самого Константина, который был героем «Горы» и фотографию которого, если переснимут, перешлю Вам тоже. На фотографии медведь уже Мурин, я ему его, конечно, передарила — и уже без зеленого костюма. Напишите, получили ли мое письмо с пересланными стихами Макса Волошина, и следующее с копией Муриного письма, и несколько открыток.

Вы просите написать про себя. Живу я здесь (окончание письма отсутствует).

Примечания к письму № 12 от 12 сентября 1945 г.

¹ Марина Ивановна подписала письма дочери от 16.V, 18.V и 23.V.41 «Мау».

² См. примеч. 10 к письму А. С. Эфрон А. И. Цветаевой от 1.VIII.45.

Дорогая моя Асенька, у нас осень, серая, сырая, сирая¹, всегда любимая мною. День позже просыпается и раньше засыпает, и в нем появилась какая-то особая четкость. Вот в такие дни мама любила ездить в Версаль и нас с Муром, молчаливых спутников, брала с собой. Мы все любили парк там, где он начинал дичать и срастаться с лесом, а все стриженое, причесанное и официальное оставляли позади. Самое чудесное, конечно, был Трианон, тогда уже совсем покинутый и запу[ще]нный, — помните ферму, мельницу и все игрушечные владенья Рэн?²

Вчера вечером я забралась на лесенку нашего общежития, огляделась — за забором вставал туман, вырисовывая над лесом извилины невидимой мне речки, на фоне темной, где ночь сравнивала оттенки листьев и хвои, опушки отчетливо вырисовывалась первая золотая, золотая и тонкая, как мама моего детства, березка. И я сразу вспомнила — вон там, за тем поворотом, откуда ветер доносит гудки паровозов дальнего следования, — в том черном лесу стоит камень друидов³, и у камня, виденьем байроновских времён и «Юношеских стихов»⁴, — моя золотая и тонкая мама и красивый черноглазый юноша — Вы, м. б., помните его? По-моему, он бывал у нас в Ваш приезд.

Его звали Николай Павлович Гронский⁵. Он был очень молод и очень хорош собой. Меня, девочку, раздражала некоторая нарочитость его движений, эффектность его поз, но я сама была очень молода и поэтому не понимала, что такое — молодость. Высокий, с профилем юного генерала 12-го года, с романтической прядью над высоким лбом, он, конечно, писал стихи, не совсем бездарные, но и не совсем талантливые, короче говоря — плохие. Присылал их маме на суд, она, найдя в них проблески, увлеклась, перечеркнула, переделала, сократила, словом — превратила всё в глину и слепила заново.

А юноша поверил, что сам — написал. Он стал бывать у нас и сразу же, с первого же взгляда, с первых же слов влюбился отчаянно. Это была, в общем, короткая история. Кажется, в «Юношеских стихах» где-то сказано: «Я взяла тебя из грязи, в грязь родную возвращаю»⁶ — так было и здесь. Не только его стихи она превратила в глину, но и его самого слепила по своему образу и подобию, а потом все — и стихи, и человек вновь стали глиной, утратившей не только ею созданный, но и свой первоначальный образ. Я помню — как это тогда до меня доходило — отрывки их бесед, прогулок, писем, наш отъезд на берег моря и его бесконечные письма туда, где она была уже совсем иная, веселая, бронзовая, звонкоголосая, окруженная иными поклонниками и другой природой. Она звала его приехать, он не мог, задержанный какими-то семейными обстоятельствами.

Потом мы вернулись туда, в ту квартиру, где и Вы у нас были. Он продолжал приходить, но уже все становилось не так. Он оказывался постепенно и глупее, и ничтожнее, и вообще не таким, не тем, не созданным ею. Он делался самим собою, увы! — и в беседы, прогулки, письма врывалась ее язвящая ирония, ее раздражение. И он перестал бывать у нас. Не только у нас. Он совсем уехал оттуда, поступил в Брюсселе на юридический, кажется, факультет, она не слышала о нем и слышать не хотела.

Прошло несколько лет. Я помню, как сейчас, — мы сели в дачный поезд — мама, Мур и я, — чтобы из города ехать домой, в Медон. Рывком открывается дверь вагона, — Николай Павлович! Поблѣкший, растерявший мальчишеские позы и жесты, даже постаревший, он бледнеет при виде ее так, что губы белеют. Первые, ничего не значащие растерянные слова: «как поживаете» и т. д. Он с жадностью смотрит ей в лицо, она усталым и близоруким взглядом глядит в окно, с вежливым интересом спрашивает о прошедших годах, об учебе. Приглашает заходить — он иногда заходит, но это все не то, ах как не то, и она, и он — не те, и кажется, все сгорело, и никогда ему не добиться огня от этой горсточки пепла.

Николай Павлович погиб неожиданно, трагически. Непонятным, необъяснимым и необъясненным образом он попал под поезд метро, причем не под головной вагон, а между вагонами, в середине поезда. Закружилась ли у него голова, стало ли ему дурно, когда он стоял на перроне подземной станции, или — но никто не узнал и не узнает. Изуродованное тело — но лицо осталось нетронутым — родители привезли в свою медонскую квартиру. Между прочим, всего этого я точно не помню — не помню прощанья с ним, похорон — мама отстранила меня от всего. Она бросилась к нему, мертвому, так, как он, живой, бросался к ней. Она помогала матери обмывать и одевать его, она была все время с ней и с ним и с не меньшей, чем у матери, скорбью и страстью принялась за украшение могилы, вкладывая всю свою жизнь в эту смерть. Как две Марии у гроба Господня, они погрузились в это горе — его мать и его любовь, подружились неразрывно, и дружба эта продолжалась годы. Смерть сняла с него все ею придуманное за, против и вместо него, и вдруг он предстал ей, ужаснувшейся утрате, таким, каким был в самом деле, — черноглазый юноша, такой простой и так по-настоящему любивший ее всю свою короткую жизнь! Она стала разбирать его тетради — стихи только ей и только о ней, дневники — только о ней, ее же письма и его — к ней, неотосланные. Она узнала, что в годы разлуки она была с ним и в нем, неотъемлемо. Помню, как тогда, в первые дни, она накинулась на меня с упреками: «Ты не любила его! Ты не понимала его, ты все смеялась над ним, тебе все смешки были. О, он прекрасно знал тебя и терпеть не мог...» — ей хотелось найти виновного в том страшном, что она тогда переживала. (И действительно, мы с Николаем Павловичем никогда не дружили, очень любили друг друга поддразнивать — но и только. Ни приязни, ни неприязни особой у нас не было. Маленькому Муру, помню, он не нравился.)

Каким ужасом она была окружена, когда по-настоящему полюбила его, мертвого, невозвратимого, когда поняла и приняла его всей своей женской и материнской душой, когда восстанавливала и воссоздавала его — по клочкам писем, по рассказам знакомых, когда живой человек стал воспоминанием, понятием, страшным, как «навсегда» и «никогда».

Мать Николая Павловича⁷, еще моложавая, красивая маленькая женщина с огромными темными глазами, не ладила с мужем — отцом Н<иколая> П<авловича>⁸. Сын — единственный — все мирил их. Он любил мать и понимал отца, и, пока жив был, они были — семья. После его смерти они разошлись. Отец как-то сразу постарел, болел, тосковал, угасал. Со смертью сына и его жизнь кончилась. Мать возвращалась на

могиле сына голубую елочку, лепила (была она скульптор) его голову в романтическом повороте и с романтической прядью, потом вышла замуж за какого-то старого друга и о Н<иколае>П<авловиче> стала только вспоминать.

Помню, перед самым моим отъездом в Москву мы разговорились с одной пожилой приятельницей нашей семьи и семьи Н<иколая> П<авловича>.

«Как Николай Павлович любил ее (М<арину>)! — сказала мне она. — Он считал ее колдуньей — нет, в самом деле, я не шучу. Хотел разлюбить ее — и не мог, уехал — и не мог забыть. И никого после нее не мог полюбить, так всю свою жизнь любил только ее одну — и ненавидел, и хотел избавиться от этого наваждения, — говорил: она меня заколдовала, она колдунья, взгляните только в ее глаза!»

Да, еще вспоминаю — Н<иколай> П<авлович> подарил мне когда-то колечко с балтийским янтарем, в котором застыла мушка, и еще когда-то — «Тиля Уленшпигеля» с какой-то не совсем любезной надписью. Мама, всегда решительная, как полководец, отобрала у меня колечко и подарила его матери Н<иколая> П<авловича>, а книгу взяла себе. «Ты его не любила, а мы любили и любим, вот и все». Я совсем не обиделась, но, помню, мне отчего-то было очень смешно, что она у меня все отобрала. Между прочим, мы с мамой постоянно молча друг у друга воровали всякие мелочи и фотографии — воровали и перекрадывали. Уезжая, в частности, в Москву, я отобрала себе несколько фотографий из ее запаса и спрятала. Так она не только нашла и свое взяла, а еще и моих несколько прихватила, что я обнаружила только в Москве. Милая мама!

Асенька, тут один доморощенный художник делает мой портрет. Как все плохие портреты, он будет похож, и я пошлю его вам. Терпеливо позирую, чтобы Вы увидели, какая я теперь стала. От Вас давно нет писем. Я здорова, чувствую себя неплохо. Курю, конечно, много, — что поделаешь — наследственность!

Люблю и крепко целую. Ваша Аля.

(На полях надпись другими чернилами) Вкладываю лист бумаги и 6 марок.

Примечания к письму №13 от 16 сентября 1945 г.

¹ Ср. в стих. М. Цветаевой «Рассвет на рельсах» (1922): «Из сырости — и серости», «Из сырости — и серости».

² Пейзажная часть версальского парка с увеселительным дворцом Малый Трианон была подарена королем Людовиком XVI его супруге — королеве (la reine (фр.)) — Марии-Антуанетте (1753-1793). В этой части парка размещалась «мельничная деревушка», «молочная ферма», «голубятня», «курытник» и другие павильоны-бонбоньерки, построенные в псевдокрестьянском стиле.

³ В медонском лесу есть огромные камни, близ которых, по преданию, в древности кельтские жрецы — друиды — отправляли свои религиозные обряды. Сохранилась видовая открытка,

посланная М.Цветаевой Н. Гронскому летом 1928 г. из Понтайяка, с изображением больших камней на берегу моря, на которых Цветаева написала: «За сходство с дольменами».

⁴ «Юношеские стихи» (1911-1913) — третья (неизданная) книга М. Цветаевой. В стихах «Генералам 12-го года» и «Байрону» (оба .— 1913) М. Цветаева рисует образы романтических героев.

⁵ *Николай Павлович Гронский* (1909-1934) — поэт, выходец из России. Семья Гронских жила по соседству с семьей Цветаевых в предместье Парижа Бельвю (Bellevue) в 1928-1929 гг. И тогда, когда М. Цветаева переселилась в другой пригород Парижа, Медон, Н. П. постоянно бывал у нее, и, как она пишет Наталье Гайдукевич 24.IV.35, «...мы с ним целый год прошагали по лесам» (Цветаева М. Письма Наталье Гайдукевич. М., 2002. С. 87). Потрясенная его трагической гибелью, 21.XI.34, М.Цветаева на кладбище сказала надгробное слово, написала посвященный ему цикл стихотворений «Надгробие» и эссе «Поэт-альпинист». А когда в 1936 г. вышла в свет книга Н. П. Гронского «Стихи и поэмы» — отзыв на нее. Прочитав после смерти Гронского его поэму «Белладонна», М.Цветаева в письме от 11.X.35 писала: Ю. П. Иваску: «Гронского в Белла-Донне я чувствую своим духовным сыном» (Собр. соч. Т. 7. С. 402).

⁶ См. примеч. 6 к письму А. С. Эфрон А. И. Цветаевой от 15.VII.45.

⁷ *Нина Николаевна Гронская* (урожд. Слободзинская; во втором браке — Гронская-Лепехина; 1884-1958) — скульптор.

⁸ *Павел Павлович Гронский* (1883-1937) — по образованию юрист, в Петербурге преподавал в университете и Политехническом институте. Депутат IV Государственной думы от партии кадетов. В эмиграции продолжал преподавать на русском юридическом факультете в Париже. Член редколлегии «Последних новостей».

14

4 октября 1945 г.

Моя дорогая Асенька, посылаю Вам попытку своего портрета. Старый художник, делавший его, все «составные части» лица изображает обычно похоже, каждую в отдельности. Собрать же их воедино, придавать им выражение не умеет совсем — так что и похоже, и непохоже, но от всего сердца, и моего, и того старика, который говорил мне: «Вы хоть и неверующая, а самая настоящая христианка!» Надеюсь, что и это невероятно наспех, как, увы, всегда, написанное письмецо, и портрет дойдут до Вас. Письма Ваши я получаю нерегулярно. М. б., виной тому Ваш почерк, к<отор>ый и мама-то не разбирала сразу, а сперва читала Ваши письма начерно, а потом уж добиралась до всех закорючек (далее 0,5 листа утрачено).

Обо мне не беспокойтесь. Живу я по данным возможностям очень хорошо. Зарплату получаю по высшему разряду, как «мастер своего дела». Хлеба от 750 до 950 гр. ежедневно. В лавке есть картошка и хлеб, часто бывает молоко. Работаю много и хорошо. Отношение очень хорошее. И т. д., и т. д. Нужные (и ненужные) мне вещи и обувь привез муж. Легкие мои в полнейшем порядке. У сердца — какой-то кардит, но он мне пока не мешает. Работаю по специальности, без затраты физических сил. Цех

теплый, зима, если не будет перемен, не страшна. Вот вам в телеграфном стиле все, чтобы и не пробовали беспокоиться о (далее 0,5 листа утрачено).

<...> ее интонация. Но она была — как бы сказать точнее? — четче. Как-то отчетливой. Сейчас приходится письмо прервать, завтра продолжу. Спокойной ночи, моя родная!

Продолжаю. Кругом шум невероятный. Нужно, просто необходимо написать Вам бесконечно многое о многом, но нет ни тихого часа, ни тихого угла. Я всегда на людях — часы работы и отдыха всегда совпадают с такими же часами у других. А для того, чтобы как следует ответить на все Ваши вопросы, не часы нужны, а дни и годы!

О маме и Муре. Мама любила его, так, как только она одна могла любить. И он любил ее больше, сильнее и глубже, чем кого бы то ни было из нас. Причем с самого детства он умел любить ее, и в своих отношениях с ней он, помимо любви, был умен и тактичен, как взрослый, сложившийся человек. Даже больше. У нас с папой не всегда хватало терпения любить. Неверно, конечно. Не терпения любить, а просто терпения. Но нужно сказать, что мама, будучи невероятно терпеливой в преодолении бесчисленных и бесконечных трудностей жизни, материальных и прочих, была так же невероятно нетерпелива и нетерпима в личных взаимоотношениях. Но с Муром — таким, каким я его знала тогда, мальчиком, она всегда находила общий язык и к нему, сыну, была всегда снисходительна. Но в то время, когда они приехали к нам в 39м году, у меня было впечатление, что он не то что вырывался, но старался тихо и тактично ускользнуть из-под ее опеки. То был мальчишеский возраст самостоятельности и независимости. Но я с ним была тогда только около месяца — они приехали в июле, я уехала в конце августа и больше с ними не виделась.

В своих письмах мама очень хвалила Мура, его к ней, несмотря на огромную рассеянность (забывал дни испытаний и т. д.), внимательность и заботливость. Ходил на базар с кошелкой (чего терпеть не мог) — пытался готовить.

Бедный, бедный мальчик! Дай Бог, чтобы он оказался жив, ведь сколько пропавших без вести возвращаются!

Мама, папа и Мур очень любили моего мужа. И он их. После папиного отъезда муж помогал маме — которую, по сути дела, знал очень мало, как близкий, родной человек. После маминой смерти он заботился о Муре как о своем сыне. Мур постоянно с ним переписывался, муж в самое тяжелое (не считая более легких) время помогал ему матерьяльно, содержал и поддерживал. По гроб жизни я ему буду благодарна за то, что в дни и годы испытаний он оказался человеком по отношению к близким моим. Не сердитесь за нелепые, такие наспех написанные мои письма.

Целую и люблю.

Аля

22 октября 1945 г.

Дорогая Асенька, сегодня получила Ваше письмо, написанное в день моего рождения, со стихами из «Верст». Отвечаю с неутомимостью Шахерезады на Ваши вопросы: 1) копию Муриного к Вам письма получила; 2) копию того прощального письма мамы — нет; 3) копию прощальных, когда Вы у нас гостили, писем — нет; 4) о фибровом чемоданчике — нет; 5) стихи из «Верст» — получила; 6) «К дочери» — нет; 7) «пушкинские» стихи — получила; 8) «На аспидной доске»¹ и «Стар<инная>нар<одная> песнь»² — нет; 9) и сегодня же получила портрет мамы, когда ей было 10 лет. Она очень похожа на Мура лет 7-8. Значит, вообще очень похожи. Я рада, что до Вас дошло моё письмо о Константине. Подробно Вам о нем расскажу при встрече. Вот мне хотелось бы, чтобы Вы мне написали, получили ли мои письма о маминых письмах ко мне туда, на Север. Писала по памяти, много, Вы не отозвались ни разу, может быть, получили, и Ваш ответ пропал, или не получили?

А курить я начала лет 20ти. Пошли мы с одной моей приятельницей, гораздо старше меня, гулять. Целью прогулки был город в 40 кил<ометрах> от того, в котором мы жили, и в этом городе собор. Приятельница курила английские папиросы в красивой коробке. Я закурила и по сей день помню запах меда и отсутствие тошноты, о которой обычно говорится и пишется. Так и начала курить и продолжала, скрывая от мамы, — но выдавал меня медовый запах папирос и Мур, бывший, кстати сказать, ужасным сплетником.

Он меня буквально «продавал» маме с моими папиросами вместе за небольшое вознаграждение. Я, чтобы отвязаться от меда, была вынуждена курить те же папиросы, что мама. А от Мура отвязаться не было никакой возможности. Папиросы он таскал у меня из кармана и продавал их маме: «Маманкин, я тебе папиросы купил, на собственные деньги!» Умиленная и благодарная мама, не замечавшая того, что пачка распечатана, возвращала Мурзилу стоимость пачки и еще «на чай» давала, я, кипя от негодования, молчала, а Мур, торжествуя, молча, тихо и безнаказанно выплясывал вокруг меня, строя торжествующие рожи и высовывая наглый язык.

Вообще, если Мур меня любил, то чувство свое ко мне он в большинстве случаев умел отлично скрывать. Иной раз можно было бы сказать, что он меня терпеть не может — но, конечно, это было не так. Оставаться нейтральным по отношению ко мне он не умел и во всяком мамином мне (зачастую сгоряча несправедливом) выговоре принимал живейшее участие. После того, часто, как сам он эти выговоры вызывал. Он был чудесный мальчик, всегда и во всем державший мамину сторону, бывший все те годы, что я его знаю, ее вернейшим другом и бессменным любимцем. Мы с ним часто ссорились, так же часто и горячо мирились, особенно нас объединяла любовь к прогулкам, к кино, к семейным праздникам с угощением и подарками, к глупым книгам с карикатурными зверьками. Асенька, пока кончаю и целую крепко.

Боже, какие не те получаются все мои письма.

23 ок<тября>. Еще десять минут. Про Вас мама не говорила «Ася», а всегда «моя сестра Ася». Для меня это звучало в детстве и в юности — как «сестра моя жизнь» (название книги стихов Бориса Пастернака), тогда, когда жизнь была еще сестрою. Если изменила жизнь, то Ася так и осталась «моей сестрой». «Моя сестра Ася». «Мой брат Андрей». «А еще была Валерия³. Она терпеть не могла мою мать, ссорилась с ней, а потом уходила в свою комнату и долго пела — назло — гнусным голосом». Тьо⁴... Тьо за всю жизнь прочла одну книгу «Рауль Добри, глава семейства»⁵.

По-французски говорила с швейцарским акцентом «фотёйль», «дэйль». Из третьей комнаты чувствовала, как Марина подходила к ее (запретным) духам, или часам, или музыкальному ящику. Помню случай, как больного деда везли лечиться на какой-то дальний курорт, и он спрашивал, кому что привезти, — и вот Андрей попросил лошадь, Ася (кажется) — куклу, а я, мечтавшая о совсем другом, покраснев и с трудом, по-французски: «Привезите мне здоровье дедушки! («Ла сантэ де гран-папа!») И еще, как Ваша мать читала вам обоим какой-то аллегорический рассказ, где участвовала какая-то прекрасная принцесса, и, прочтя, спросила: «Кто же она была?» — Ася не угадала, а я, вспыхнув, быстро: «Натура!» (т. е. «природа!»)

Нерви. Лозанна⁶. Коричневая такса матери, которую (таксу, конечно!) однажды чуть не удушили серой, когда где-то в госпитале морили клопов, которая, узнав купавшуюся в море мать, прыгнула ей на спину с высокого обрыва. Мать и музыка. Ее последние слова — «мне жаль только музыки и солнца»⁷ (на полях письма приписка АЦ: «Не последнее, но в последние дни»). Мать Андрея и Валерии — Асенька, я все помню, знаю так же, как и Вы, — зачем Вы говорите о каком-то моем зените, когда я, сверх всего своего, тащу на себе и несу в себе все ваше, когда я не только не моложе, а еще и гораздо старше, и вас обеих, и Сережи, являясь Вашим наследником и продолжателем, по-настоящему, а не внешне. Я знаю, что я — совсем иная, но все ваше несу в себе, не растворяя в этом ином — чистым металлом, а не сплавом. Во мне — вы такие, какие вы есть. А уж потом мое отношение когдатошнее и теперешнее и участие в ваших жизнях.

Я знаю, что Вас раздражают мои отношения к давно прошедшему. Но близким трудно писать в этих условиях, все крайне высушено и однобоко — нужно рассказать «живым голосом». Очень трудно со временем — и пространством. Получили ли нашу с Муром карточку и мой карандашный портрет? Нужно кончать. Целую и люблю.

Ваша Аля

Примечания к письму № 15 от 22 октября 1945 г.

¹ А. Э. имеет в виду стихотворение «Писала я на аспидной доске» (1920).

² Под этим заглавием было напечатано в журнале «30 дней» (1940, № 4) стихотворение 1920 г. «Вчера еще в глаза глядел...». М. И. Цветаева рассказывала Н. Кончаловской: «Я никак не могла уговорить редактора не называть так этих стихов. Он утверждал, что это стихи о несчастных;

обездоленных женщинах прошлого, таких, каких теперь нет. А стихи-то просто любовные» (Кончаловская Н. Накануне катастрофы // Марина Цветаева в воспоминаниях современников: Возвращение на родину. М., 2002. С. 139).

³ *Андрей Иванович Цветаев* (1890-1933) и *Валерия Ивановна Цветаева* (1883-1966) — дети И.В. Цветаева от его брака с Варварой Дмитриевной Иловойской (1858-1890).

⁴ *Тьо* (или Тетей) звали в детстве сестры Цветаевы *Сусанну Давыдовну Мейн* (урожд. Эмлер; 1845 —1919). «„Тетя” была бывшая экономка дедушки, бывшая бонна мамы, для нее им выписанная из Швейцарии <...>, дедушка оставил ее в доме при маме и до дня маминого замужества, — а тогда, в благодарность за отданную дому жизнь, чинно обвенчался с ней (для чего она приняла православное крещение)» (Цветаева А. Воспоминания. М., 2002. С. 29). После смерти мужа — деда сестер Цветаевых, Александра Даниловича Мейна (1836-1899), — она поселилась в унаследованном от него доме в Тарусе. Теперь в тарусском доме находится Музей семьи Цветаевых.

⁵ Герой романа французской писательницы З. Флерио (1829-1890) «Raoul Daubry: chef de famille» упомянут М.Цветаевой в мемуарной прозе «Дом у Старого Пимена»: «...из глубочайших недр моего младенчества встает <...> Рауль Добри из романа для девиц *Zénaïde Fleriot ...*» (Цветаева М.Собр. соч. Т. 5. С. 112)

⁶ Осенью 1902 г. врачи рекомендовали увезти заболевшую туберкулезом М. А. Цветаеву в Италию, и муж поехал с нею, с десятилетней Мариной и восьмилетней Асей в городок Нерви под Генуей, где все они остались на зиму, а в мае 1903 г. девочек отправили в Лозанну (Швейцария) в пансион сестер Лаказ.

⁷ Рассказывая в своей мемуарной прозе «Мать и музыка» о возвращении матери самой ее смертью в Тарусу, М. Цветаева пишет: «Последние ее слова <...> были: „Мне жалко только музыки и солнца”» (Цветаева М. Собр. соч. Т. 5. С. 31).

16

26 октября 1945 г.

Дорогая Асенька, получила Ваши письма, посланные 22 августа и 9 сентября, одно из них — заказное. И заранее (потому что только завтра он будет), и запоздало (п<отому> ч<то> не скоро получите) поздравляю Вас с днем рождения. Боюсь, что поэтические мечты Бориса о переносе маминого тела — это только поэтические мечты¹. Это дело связано с такими хлопотами и тратами, что ему его не поднять, «такому, как я его знаю», как говорят французы. Он и живой не смог ей помочь, и мертвую не сдвинет с места. Но я считаю, что это непременно нужно будет сделать — нам, близким и родным ей людям.

Вам и мне, когда мы сможем, папе и Муру, если они живы: мамино вечное желание при жизни, желание, которое она очень часто повторяла и нам с Муром, и папе, и друзьям, было, чтобы прах ее сожгли в крематории², она ни за что не хотела, чтобы ее тело хоронили. Мне ужасно больно, что это ее желание не смогло быть выполнено тогда. По-моему, мы должны будем его выполнить потом, когда сможем приняться за это дело, а урну с прахом установить на Ваганьковском кладбище — «Зори ранние — на Ваганькове»³; рядом с прахом ее матери, которую она особенно

часто и с особенной любовью, осознав ее окончательно, вспоминала в последние годы (о матери, о Вас и о себе маленьких она написала несколько чудесных вещей (проза)). Напишите, что Вы думаете по этому поводу.

Асенька, какие мы с Вами разные: Вас тянет в Елабугу, место, где она умерла, а у меня ужас и отвращение к этому городу. [Я] должна буду быть там и буду, раз должна. Но у меня такой ужас всего моего существования перед ее смертью, перед этим местом, связанным только с ее страданием и смертью, перед всем этим, что, не будь бы я должна, я никогда, в жизни не поехала бы туда. Во всяком случае, жить там, где она умерла, я ни за что не хочу. Мне хочется жить там, где она жила. Для меня она всюду, где жизнь, но только не в могиле, только не в Елабуге. Асенька, я не могу толком объяснить, почему это так. М<ожет> б<ыть>, потому, что она, любя жизнь, но часто думая о смерти, смерти не боясь, боялась могилы, могильной земли — «Меня будут черви есть? ни за что! Пусть меня сожгут!» — а для меня Елабуга — это именно могила, где ее черви ели, где все случилось так против ее желания. Судьба, пусть. Но я все ненавижу этот город.

Ее письмо 10-го года, о к<отор>ом Вы упоминаете, но копии которого я не получила, каково бы оно ни было, — это совсем не то. Она была совсем не та в последние годы, ее страдания не имеют ничего общего со страданиями подростка, которым она была тогда.

Стихи из Пушкинского цикла я получила. Они, по-моему, 36го года⁴. Конечно, я их читала. Не помню, сколько стихотворений включал в себя этот цикл. По-моему, не меньше 12ти. Так — Пушкин и Петр; замечательные «Старинная народная песнь» и «Писала я на аспидной доске...»⁵, а также «Стихи к дочери» не дожили до меня. Еще, м<ожет> б<ыть>, получу. Я Вам сама, по памяти переписывала несколько «Стихов к дочери» — получили ли? Получили ли посланные мной, случайно найденные в журнале стихи Волошина? Вообще, я вижу, что очень многие мои письма где-то залеживаются. Надеюсь, что рано или поздно они дойдут до Вас, как и Ваши — до меня.

Асенька, мои перспективы отъезда и вообще перехода с этой работы пока что очень призрачны. Муж очень хлопочет о переводе меня в Москву, но дело продвигается туго, т<ак> ч<то> я совсем не знаю и не представляю себе насчет дальнейшего. Подписанный мной договор с учреждением, в котором я работаю, связывает меня до августа 1947 г.⁶, но, м<ожет> б<ыть>, мужу удастся расторгнуть этот контракт раньше, что мне очень хотелось бы.

Если мне не удастся выехать к мужу, то, верно, придется обосноваться здесь, все же работа по специальности, с продуктами легче, чем в других местах, от Москвы недалеко (ночь езды) и т. д., и пр<очее>, пока огляжусь. Вам я советую только к Андрюше ехать, в первую очередь, а там видно будет. Вы ведь так им нужны, а его тоску по Вас я по своей могу измерить. Я попрошу мужа выслать Вам денег, сколько он сможет, на случай дороги. Непременно напишите Андрюше насчет денег. Они непременно должны у Вас быть. Весь свой скарб берегите, пока он Вам нужен на месте, и без колебаний выбросьте все лишнее, как только тронетесь в путь. Спинной

мешок и в крайнем случае одеяло, кроме всего того, что на Вас будет надето, вот и все. Не убивайте себя в дороге вещами: и [вилка], ложка и нож — вот и вся посуда. Попутчиц и попутчиков найдете себе в новом направлении, одна не поедете. С Андрюшей договоритесь заблаговременно о Вашем приезде к нему, чтобы на случай его перемещения он телеграфировал Вам об изменении Вашего возможного маршрута. Непременно к нему, Ася, или возможно ближе к нему, чтобы в первую очередь быть с ним. А оттуда, когда все это свершится, наладим и нашу с Вами встречу, и все дальнейшее.

Что за портрет мамы в клетчатом платье? Если анфас, с седой прядью, с немного измененным ретушью носом, то это — портрет, снятый очень скоро после рождения Мура, в 1924 г.⁷ У меня есть здесь такая ее карточка, с надписью. Единственные ее строки, что у меня — здесь — есть. Письмо о фибровом чемоданчике я не получила, но вкратце рассказали, что там было. Асенька, никакие фибровые и нефибровые чемоданчики не могли заставить маму никогда расстаться «с кошелкою базарной», как ни сердились на нее за это папа и, особенно, Мур. И чтобы Вы не угрызались, я скажу Вам, что в Ваш приезд тогда⁸ мама Вам подарила не помню сколько, но сколько-то ночных рубашек. А потом одну из них она «пожалела» (она была в ней, когда родился Мур) и тихонько взяла обратно. Когда же Вы уехали, она так долго терзала себя этой рубашкой и тем, как она пригодилась бы Вам, что я еще и еще раз вижу, какие вы обе родные сестры, одна с чемоданом, который должен был бы остаться с той рубашкой, другая с рубашкой, которая должна была бы уехать в том чемодане. Целую и люблю. Пишу часто. На днях пришлю Вам свой карандашный, хоть и непохожий, но портрет. Ваша Аля

Примечания к письму № 16 от 26 октября 1945 г.

¹ Ср. в стихотворении Б. Пастернака «Памяти Цветаевой» (1943) 4-5 строфы:

Ах, Марина, давно уже время,
Да и труд не такой уж ахти —
Твой заброшенный прах в реквиеме
Из Елабуги перенести.

Торжество твоего переноса
Я задумывал в прошлом году,
Над снегами пустынного плеса,
Где зимуют баркасы во льду

(Пастернак Б. Стихотворения и поэмы. М., 1965. С. 567).

² Например, в письме от 10.V.25 О. Е. Колбасиной-Черновой: «Тело свое завещаю сжечь — это будет моим единственным завещанием» (Цветаева М. Собр. соч. Т. 6. С. 744).

³ Две последние строки стихотворения «Облака — вокруг...» («Стихи о Москве», 1916).

⁴ Все «Стихи к Пушкину» (1-6) были написаны в июне — июле 1931 г., и лишь одно из стихотворений этого цикла «Народоправству, свалившему трон» — в июле 1933 г.

⁵ Этим стихотворением, посвященным Сергею Эфрону в 1920 г., М. И. Цветаева собиралась открыть заказанный ей Гослитиздатом сборник стихотворений.

⁶ А. С. Эфрон говорит о сроке своего пребывания в лагере.

⁷ Ошибка памяти: Георгий Эфрон (Мур) родился 1 февраля 1925 г.

⁸ Речь идет о приезде Анастасии Ивановны в Медон в сентябре 1927 г.

17

3 марта 1946 г

Дорогая Асенька! Каждое мое письмо начинается однообразно — от Вас очень давно нет никаких известий, ни письма, ни открытки, ничего абсолютно. И это тем более меня тревожит, что в них, давнишних Ваших письмах, сквозила большая усталость. Я боюсь, что Вы больны. Или, может быть, что-нибудь в моих письмах Вас рассердило? Последнее, что я от Вас получила, это ответ на мое письмо с фотографией Мура с медведем: С тех пор посылала Вам, среди прочего, свой карандашный портрет и карточку Сережи и Константина¹.

От мужа тоже очень давно не имею известий. Наша переписка прервалась очень вскоре после его приезда ко мне. Получила 2-3 письма, за которыми последовали 2-3 телеграммы нежного, но весьма лаконического содержания — и все.

Сперва я безумно волновалась, думала, что с ним что-нибудь случилось, с большим трудом (это ведь связано с целым рядом формальностей) трижды телеграфировала Лиле и наконец узнала, что все в порядке, — он жив, здоров, работает на прежнем месте и т. д. Тогда я разозлилась и сама перестала ему писать. Увы, этот мой выпад он принял вполне хладнокровно, ибо так и не написал мне ни единой строчки за несколько месяцев. Очень это все обидно, Асенька!

Но Ваших писем я жду - жду с каждой почтой и не теряю надежды получить сразу много — м<ожет> б<ыть>, они залежались где-нибудь — такой долгий путь от Вас ко мне. Хоть бы знать, доходят ли до Вас мои весточки.

Почти весь прошлый месяц проболела. Был очень болезненный приступ аппендицита — слава Богу, добрый врач разрешил лежать в общежитии и избавил от невыразимого уныния женской больничной палаты. Уход был обеспечен прекрасный, и обнаружилось в этой встряске многоотзывчивых людей, почти и даже совсем друзей. Но это еще не все — когда успокоились боли (это второй приступ, первый был в Кисловодске, в год Вашего отъезда²), вдруг температура лезет до 39, я — в панике, п<отому> ч<то> в больницу не хочется. Оказалась обычная мордовская малярия. Очень она меня потрепала за этот месяц. Второй день как я на ногах, худющая и,

кажется, еще длиннее стала, чем раньше была. Сама себе в таком виде и состоянии почему-то очень напоминаю папу. Почему-то стала какая-то капризная, чувствительная и обидчивая, надеюсь, что это — остатки болезни, а не март месяц.

Вы знаете, когда я еще болела малярией? Страшно сказать и странно вспомнить: лет 25 тому назад, да еще больше, пожалуй! Помните, как мы с Ириной³ были в детдоме, и я заболела⁴, мама приехала и забрала меня, а Ирина осталась; маленькая, с крутым лобиком и вьющимися светлыми волосиками, в моем длинном розовом ситцевом платье с крылышком, она ходила среди остальных детей и спрашивала: «А чай пить? а чай пить?» Так она и осталась у меня в памяти в последний раз — больше я ее не видела. Я ужасно долго о ней тосковала. Уже большой девчонкой проснусь и вспомню, что Ирины нет, и плачу. Так вот тогда, среди прочего, я и малярией болела. Тогда долго не могли ее распознать. Сперва я лежала в каком-то красноармейском госпитале⁵, совсем одна, совсем маленькая девочка среди красноармейцев. Они меня развлекали, как могли, а я страшно тосковала без мамы. Она приезжала, но редко, очень трудно было туда добраться, т. к. это было где-то далеко не доезжая Москвы. Приезжала, привозила какую-то еду, а главное — рассказывала сказки. Помню, именно там я в первый раз услышала «Карлика Носа» и «Маленького Мука»⁶. И книжки мама привозила. Это была мука — руки все в нарывах, все перебинтованы, каждый палец, и страницы переворачивать не могу никак.

Потом мама увезла меня в Москву. Мы жили сперва не на Борисоглебском, а, по моему, у Веры, в большой, чужой, но теплой комнате⁷. Мама работала «на службе» и каждый день приносила что-то съедобное, а ведь достать тогда что-нибудь было так невероятно трудно! Но Вы ведь помните, какая я была подлая, я ничего не ела и все выбрасывала под кровать. Целыми днями сидела и лежала одна, обложенная книжками, потом начала вставать и сама всюду лазить. И так однажды набрела на мамину записную книжку, вроде дневника.

Читала-читала, и, наконец, число (не помню какое) и французская фраза, где поняла только одно слово «Ирина», написанное латинскими буквами. Значит, что-то про Ирину, а по-французски — чтобы я не поняла, если я начну лазить по маминим тетрадам. Сразу догадалась. Латинские буквы знала. Слово до Ирины — запомнила. Потом, не сразу, постепенно, начала выпрашивать: «Марина, а как по-французски „лето“? а „зима“? а „ночь“? а „день“? а „жизнь“? а „смерть“? — ага. То самое слово. Значит — Ирина умерла⁸. А сама молчу. Только перед самым отъездом мама сказала, что Ирины больше нет, и была поражена моим равнодушием. Она не знала про эту записную книжку. И вот столько лет спустя, положенная на обе лопатки той же или почти малярией, я смотрела в бревенчатый потолок и вспоминала все на свете. Возвращается ветер на круги своя. А мама все равно со мной.

И Вы, Асенька родная. «Только живите»⁹ — это из ее стихов. И — только пишите — это уже моя просьба. Думаю о Вас постоянно. Кофта Ваша связана и положена в чемодан — до встречи.

Целую и люблю. Ваша Аля

Примечания к письму № 17 от 3 марта 1946 г.

¹ Речь идет о Константине Болеславовиче Родзевиче.

² В 1937 г. — год ареста А. И. Цветаевой — А.С. Эфрон приезжала к отцу в кисловодский санаторий.

³ Ирина Эфрон (13.IV.1917 — 15.I.1920) — младшая дочь М. И. Цветаевой, умерла в кунцевском приюте для сирот, как называет Е. Я. Эфрон в недатированном письме к С. Я. Эфрону это учреждение. Отвезла детей в этот приют М. И. Цветаева 14 ноября 1919 г.

⁴ В Беловых тетрадах-2 М. И. Цветаева делает запись: «...Алина болезнь (с 27-го ноября 1919 г. по конец февраля 1920 г.)» (Цветаева М. Неизданное. Записные книжки. М., 2001. Т. 2. С. 459)

⁵ В записи М. И. Цветаевой от 6 декабря 1919 г. она, упоминая о своем приезде к больной Але в госпиталь, пишет: «Ночью просыпаюсь – рядом говор красноармейцев — „Бедные бессонные солдаты!“» (Там же. Т. 2. С. 51).

⁶ Сказки немецкого писателя-романтика Вильгельма Гауфа (1802-1827). Тогда же М. И. привезла дочери исторический роман Гауфа «Лихтенштейн».

⁷ М. И. Цветаева отвезла больную дочь не домой, в предельно выстуженный дом № 6 в Борисоглебском пер., а к подруге В. Я. Эфрон, Василисе Александровне Жуковской (Мерзляковский пер., д. 16, кв. 29).

⁸ Е. Б. Коркина приводит запись из Беловых тетрадей-2: «2-го февраля 1920 г. la mort d'Irina – j'écris en français pourque l'enfant ne peut pas comprendre» (смерть Ирины — пишу по-французски, чтобы ребенок не смог понять (фр.)) (Там же. С. 459).

⁹ «Только живите! — Я уронила руки...» первая строка первого стихотворения из цикла «Иоанн»(июнь 1917-го).

1 апреля 1946 г.

Дорогая Асенька, наконец, после трехмесячного перерыва, получила от Вас открытку за № 6 с двумя стихотворениями из «Верст» (цикл «Бессонница»). Пока что ничего больше после «Поэмы Горы» от Вас не получала, но еще надеюсь получить — нас разделяет такое огромное расстояние, письма, видимо, где-то застревают, но в конце концов иногда доходят. «Стихи к дочери» до меня еще не дошли, посылаю Вам их сама, что и как помнила. Т. е. ошибаюсь — я и «Поэмы Горы» не получала, а только «Поэму Воздуха», как видите, стихи с трудом преодолевают пространство.

Так до сих пор и не знаю, дошли ли до Вас мой карандашный портрет, фотография Кости и Серёжи? И вообще — получаете ли мои письма? Пишу Вам постоянно. И вероятно — очень в своих письмах повторяюсь. По этому случаю еще раз повторю, что связала для Вас очень теплую верблюжью куртку, только верблюды тот, видимо,

был с характером, т. к. шерсть у него довольно-таки колючая, но я выстирала, и стала мягче (куртка и шерсть, конечно!).

Вы опять спрашиваете меня про Марину и Костю — я ведь очень много про них Вам писала, неужели Вы не получали? Вкратце так: Костя сперва был товарищем мужа, потом другом жены, потом опять товарищем мужа. Марина после «Поэмы» с ним почти не встречалась или очень редко — у нее было другое увлечение, меньше, конечно, чем Константином («так—никогда, тысячу раз иначе!»), — это был Марк¹, немного журналист, немного литератор, довольно обаятельный, остроумный и чуткий собеседник. С обеих сторон это было только увлечение, перешедшее со временем в прочную дружбу.

Увлечение Марком помогло Марине легче пережить разрыв с К<онстантином>, которому посвящено много ее стихов. После «Поэмы» идет переезд Марины, Сережи и их дочки из города в деревню, беременность Марины, рождение сына и через 9 месяцев переезд в гостиницу «Франс»². Вот после этого промежутка Марина вновь встречается с Костей, приехавшим туда же. К тому времени, по-моему, все уже переболело и перегорело — оба очень изменились, и обстановка была не та, всё было не то. Казалось, что Костя чувствовал себя немного неловко, Марина была спокойна и далека, — а потом все вошло в свою колею, Костя женился на очень скучной, очень скупой и немного заикавшейся Муне Булгаковой, у них родилась девочка. Со временем Костя с Муной разошелся, очень увлекся одной из Сережиных сослуживиц, Верой³, — м<ожет> б<ыть>, Вы её помните? Высокая шатенка с лицом мулатки, умная и грубоватая, пользовавшаяся неизменным успехом у мужчин, подчинявшихся ее спокойной воле. С Сережей у Кости отношения были вполне товарищеские. Марина и Вера — две Костиных любви — были абсолютно, и внешне, и внутренне, непохожи. Общего между ними было лишь то, что обе были женщины с сильной волей, но воля одной ничуть не походила на волю другой. Вера — эгоцентрик, умевшая подчинять себе других, человек ума исключительно практического. Любила общество — любое, успех — любой и умела добиваться любой цели — любой ценой. А Марина — Марину Вы знаете хорошо.

Значит, у Вас есть «Поэма Воздуха» и «Поэма Горы». А «Поэма Конца» есть? И вообще, Вы ее читали? помните?

Асенька, рада, что Вы получили весточку от Андрюши. Рада, что он Вас ждет и что ждет Вас комната с балконом. И рада, что ждать теперь уже недолго. Мы с Вами скоро встретимся, все, оставшиеся в живых, будем живы. Я живу по-прежнему.

Асенька, простите, что коротко пишу, — но мои письма — сплошные повторы. Пишите больше о себе — проза доходит лучше стихов!

Примечания к письму № 18 от 1 апреля 1946 г.

¹ Марк Львович Слоним (1894-1976) — критик и литературовед, заведовавший литературным отделом журнала «Воля России», где много печаталась Цветаева. В своих воспоминаниях он пишет: «В течение трех лет — с 1922 по конец 1925 — мы часто встречались с М.И., часами разговаривали, гуляли и быстро сблизились. Общность литературная скоро перешла в личную дружбу. Она продолжалась семнадцать лет... я считал ее большим и исключительным поэтом...» (Слоним М. О Марине Цветаевой // Марина Цветаева в воспоминаниях современников: Годы эмиграции. М., 2002. С. 94). «...Ей нужно было, как она говорила, дружественное плечо, в которое можно зарыться, уткнуться — и забыться». Надо было на кого-то опереться. Ей казалось, что я могу дать ей эту душевную поддержку...» (Там же. С. 112). М. Цветаева же пишет о М Слониме О. Е. Колбасиной-Черновой 10.I.25: «Из многих людей — за многие годы — он мне самый близкий: не по — мужскому своему, не — женскому, — третьего царства — облику...» (Цветаева М. Собр. соч. Т. 6. С.743).

² Речь идет о переезде 31.X.25 семьи Цветаевой во Францию.

³ См. примеч. 8 к письму А. С. Эфрон А. И. Цветаевой от 1.VIII.45.

19

7 апреля 1946 г., Благовещенье

Дорогая Асенька, сегодня, в Благовещенье, получила от Вас письмо со стихами к Блоку и открытку со стихами «Писала я на аспидной доске». Сегодня у нас чудный весенний день, неделю тому назад прилетели грачи, а вчера — скворцы и устраиваются по скворешням, смешные, носатые. Солнце, проваливающийся под ногами почерневший снег, тысячи сверкающих, грязных, напоминающих детство ручьев и впервые так явственно в этом году слышный разноголосый щебет птиц — скоро запоют и соловьи. Лес совсем близко, он виден и слышен отсюда. Сегодня я видела во сне, будто кто-то положил на стол множество книг — альманахи, сборники 18х, 20х годов, я их просматриваю, и в каждом — иллюстрации, портреты писателей, поэтов, и среди них — мамы фотографии с челкой и полудлинными волосами. Я показываю ее каким-то присутствующим: «Вот это — моя мама» — и плачу. И слезы эти — какие-то особенные, не только горе, но и гордость.

Не понимаю, Асенька, почему Вы после моих ноябрьских писем ничего не получали. Пишу Вам постоянно и регулярно. Но я сама ничего от Вас не получала около трех месяцев и очень-очень беспокоилась. Теперь опять получаю письма с вёрстными¹

стихами и стихами к Блоку и Ахматовой. Не знаю, дошла ли до Вас карточка Константина и Сережи. Наверное, нет, Вы о ней ничего не пишете.

Вы просите послать Вам телеграмму, но это такая сложная история в нашем захолустье, что, по-моему, письма скорее доходят. Думаю, что за это время Вы получили уже несколько от меня. В одной из открыток Вы спрашиваете меня о моих юных увлечениях и об отношении мамы к ним. В предыдущем письме кратко ответила, что увлечений было мало, платонические и какие-то бедные. Мама к ним относилась плохо. А бывали и забавные случаи.

Когда мы приехали с мамой и девятимесячным Муром в город², Марина познакомилась с сыном одного своего, вернее, какого-то общего знакомого, пожилого. Сыну его, Жене, было года 24, он был высокий и светлый, новоиспеченный горный инженер, умница, человек тонкой души и холодного сердца.

Жена его, тоже умница и даже красавица, была юристом. У Марины с Женей была короткая лирическая дружба, он сильно ею увлекся, а потом они как-то разошлись, он уезжал надолго, и потом встречались очень редко, случайно и холодно. Женю я, тогда девчонка, видела в то время всего раз или два, и в памяти остались только общие его черты. И вот прошли годы, мне уже лет 20 — 21.

Марина летом едет на юг с сыном, в полудикое местечко Фавьер, на море, Сережа — в командировку. Я еду с Сережей, с которым провожу месяц, а оттуда с попутным автомобилем еду к Марине. Приезжаю под проливным, редким в этой местности, как в Сахаре, дождем. Марина встречает меня необычайно холодно, помещает меня в курятнике с видом, правда, на клумбу с цикадами и с места в карьер предупреждает, что, мол, знаю, зачем ты приехала, берегись!

Я в недоумении и в курятнике. Из курятника выхожу на следующий день, а из недоумения — нет. На повороте встречаю Женю, того самого, но не узнаю. Он подходит: «Вы — Аля?» — «Я». — «Я должен с вами поговорить». Идем. Жара, цикады, море. «Аля, я вас совсем не знаю. Помню, видел когда-то давно, девочкой с косичками! Но ведь с тех пор мы никогда не встречались? Правда?» — «Правда». — «Ну вот, я не знаю... не пойму, в чем дело.

Вчера, после вашего приезда, М. И. вызвала меня к себе, сказала мне, что знает все о наших с вами отношениях, потребовала, чтобы они прекратились, — в чем дело?» — «Не знаю и не понимаю сама». Женя приехал в Фавьер, не зная, что там Марина, я — зная, но от этого не легче.

Марина нас грызет, каждого в отдельности. И волей-неволей спасаемся от ее гнева вместе, то в горы, а то и в море. Дружим, лирически и платонически, говорим много, а о чем, сейчас уже и не помню, ибо опять прошли годы и от этой дружбы тоже в памяти одни общие черты. Он уже давно разошелся с женой, есть невеста, о которой он говорит слишком охотно, чтобы это было с горячим сердцем, — потом он уезжает, сперва в столицу, потом в бесконечные командировки, пишет мне часто, коротко и умно. Но летние дружбы — вещь непрочная, впоследствии мы легко теряем друг друга из виду, когда непонятный гнев богини перестает тяготеть над нами³.

Разгадка? Я ее нашла не сразу. Как все девчонки, я вела дневник, как все матери, она его тайком читала. И там и была фраза о том, что мать меня не любит, дома — невыносимо тяжело, — что же делать? Не топиться же, в самом деле, и не выходить же замуж за Женю, сказавшего мне однажды: «Ты милая и тихая — выходи за меня замуж». Это был совсем не тот Женя! Марина его совсем не знала! И фраза его, полушутливая, была случайной и случайно попала в несчастный дневник. Асенька, пока кончаю. Буду писать еще. Уже теперь скоро мы встретимся, и все будет хорошо. Ждите терпеливо и спокойно, все равно доживем.

Целую и люблю. Ваша Аля

Примечания к письму № 19 от 7 апреля 1946 г.

¹ Со стихами из сборника М. Цветаевой «Версты».

² То есть в Париж.

³ Ср. как пишет также о Фавьере июля-августа 1935 г. М. Цветаева в письме от 2.IX.35 А. Берг: «Был у меня и молодой собеседник — моложе меня на десять лет, — который приходил ко мне по вечерам на мою скворещенную лестницу — <...> сидели на лестнице, я повыше, он — пониже, беседовали — он очень любил стихи — не так уж очень, ибо с приездом моей дочери (я не хотела, чтобы она летом сидела в Париже, да и случай был хороший — даром, на автомобиле) — сразу перестал бывать, т. е. стал бывать — с ней, сразу подменив меня, живую, меня — меня, — понятием „Votre maman”* <...> Положение ясное: ей двадцать лет, мне — сорок <...>

Кончилось тем (он нынче уезжает), что вчера он совершенно официально обратился ко мне за разрешением пригласить Алю (Votre fille)** на прощальный обед в ресторан, на что последовал ответ: „Il y a un an qu'elle est majeure”. — “Marina, que dois-je faire dans la vie? Puis-je être écrivain? Je ne puisdemander cela qu'à Vous. Être écrivain — comme Vous l'êtes...” и т. д. — „Soyez grand. Soyez plus grand quenature. Quant à écrire — personne ne Vous le dira, même moi : surtout — moi”***. Таковы были первые разговоры. И „Marina”, без разрешения — но и без наглости — под наплывом душевной тревоги — к большой птице — под крыло. Было еще и: „Comment ferai-je sans Vous?” Я, молча: „Comme tous”****. Вот и вышло — „comme tous”. Весьма вероятно, что в комментируемом письме А. Эфрон и в письме М. Цветаевой к А. Э. Берг от 2.IX.35 речь идет об одном и том же эпизоде июля-августа 1935 г. и об одном и том же лице, но фамилию «горного инженера» по имени Евгений М. Цветаева не называла ни в письмах, ни в записных книжках. Никто из мемуаристов также ее не упоминает. Я прочитала публикуемое письмо Е.И. Лубянниковой, обладающей значительным банком сведений об окружении М. Цветаевой в эмиграции. Она назвала несколько Евгениев — сыновей знакомых поэта по Праге и Парижу. Не составило труда обнаружить по каталогам крупных российских библиотек, что один из них, Евгений Сталинский, — автор многократно переиздававшегося в Париже (1936, 1937, 1938, 1939, 1940) руководства по минералогии, книги «Mines» («Шахты» или «Рудники»). Его отец, Евсей Александрович Сталинский (1880-1952), — один из соредкторов журнала «Воля России», издававшегося сначала в Праге, потом Париже, в котором Цветаеву много печатали. Судя по письмам М. Цветаевой, именно в последние годы жизни в Праге и первый год в Париже (конец 1924-1926) она особенно часто общалась с Е. А. Сталинским. В ответ на телефонный звонок в Париж подруга, Наталья Борисовна Салогуб (урожд. Зайцева, р. 1912), кстати, жившая также летом 1935-го в Фавьере, рассказала, что Сталинский был последней влюбленностью Али во Франции. Е. И. Лубянниковой через Интернет удалось выяснить год рождения Евгения Сталинского — 1905-й и год окончания Ecole de Mines — 1928-й.

* Ваша мама (фр.).

** Ваша дочь (фр.).

*** — «Вот уже год, как она совершеннолетняя». — «Марина, что мне делать в жизни? Могу ли я быть писателем? Только Вас я могу об этом спросить. Быть писателем, таким, как Вы...» — «Будьте большим, бóльшим, чем есть. А что касается писания, никто Вам этого не скажет, даже я, именно я»(фр.).

**** «Как я буду без Вас?» — «Как все» (фр.) (Цветаева М. Собр. соч. Т. 7. С. 488-489).

28 мая 1946 г.

Дорогая моя Асенька, только что получила два письма со стихами А. И.¹, еще не прочла, не хочу себе этим гоном портить их — и то, что пишу сейчас, — это еще не ответ, а просто хочу воспользоваться случаем отправить письмо. Не сердитесь, если оно будет «пустее» остальных, трудно сосредоточиться под этот аккомпанемент. Мне вообще очень трудно писать Вам — нужно сказать так много, и не просто «много», а еще хорошо и правильно сказать, а время так ограничено, и так ограничены возможности.

От Вас время от времени приходят очень случайные вести, например, на днях получила письмо за № III, но ни первое, ни второе еще до меня не дошли. По третьему с трудом восстановила, что речь идет, видимо, о какой-то Марининой прозе, дошедшей до Вас, видимо, о детстве, ибо Вы защищаете в своем письме маленькую Асю, опять-таки, «видимо», изображенную в этом рассказе не такой, какой она была, или односторонне «такой».

Видите ли, чем больше и глубже я думаю о Марине, тем больше и глубже вспоминаю когда-то в детстве прочитанный и с тех пор больше не попадавшийся в руки тургеневский рассказ, то ли из «Стихотворений в прозе», то ли из «Записок охотника». Речь идет о дереве — кажется, липе, пустившей в одну прекрасную весну множество новых побегов у подножья своего старого ствола. Решив, что эти побеги истощают старое дерево, писатель приказал срубить их. А на следующую весну липа высохла. Умерла. И тогда только он понял, что дерево, чувствуя близкую смерть, дало те новые побеги. Дерево не хотело умирать². Так-то, по-моему, и с Марининой прозой.

Я неоднократно писала Вам, что необычайно для нее показательным было чувство смерти — с самых детских стихов и до самого ее конца. Она всегда знала, что придет смерть — к каждому и к каждой, что все проходит, что все бrenно и тленно, и потому-то, обладая в равной степени чувством жизни, она творила под лозунгом «солнце, остановись!».

Она знала, что никто не напишет о ней так, как напишет она сама. Она знала, что не родится человек, который воскресит ее, когда пробьет ее час. И, как та липа, она пускала побеги вокруг своего ствола, из своих корней. Она писала о себе. Она оставляла нам себя во всем своем сиянии, во всем своем великолепии, такую, какой она осталась бы на всю свою жизнь, если б жизнь ее была жизнью.

Это было, конечно, подсознательным явлением в ее творчестве — и отсюда опять-таки подсознательное «умаление» всех остальных действующих лиц ее воспоминаний. Всех? нет! если речь шла о «герое», равном ей по силе творческой, она могла ступешаться перед ним — ступешаться, оставаясь все же сама собою, — как Бет<тина> Арним³ перед Гёте или Бетховеном.

Родная моя, не нужно «обижаться» за маленькую Асю, бывшую в детстве не только плаксой и ябедой. Несправедливость, зачастую жестокость, почти всегда односторонность Марины-прозаика вызвана несправедливостью и жестокостью жизни

тех времен по отношению к ней, желанием оставить нам себя пережившей смерть, себя настоящую, а не ту, о которой расскажут люди, которым не дано ни увидеть, ни понять ее правильно. Она знала себе цену, и, чтобы донести себя до нас, она «умалыла» окружающих. И все я вспоминаю липу и её ростки — эту силу жизни, желающей все равно перебороть физическую смерть.

Вы мне пишете о том, что Ася — тоже Марина, побег, от того же ствола, от тех же корней. Я знаю. Я знаю, что в каждом из нас есть что-то от нее, и знаю, что и от нас она вобрала в свои мощные корни, ствол и ветви что-то. Но тем не менее — у нас, из нас — она одна. Гений — это талант плюс волевая трудоспособность, ослиное упорство и божественная целеустремленность. Всем этим обладала она, только она из всех нас. Человек, ежедневно трудившийся за своим письменным столом, как за верстаком, добывающий рифму и образ с таким же упорством, с каким Микель-Анджело добывал осязаемую форму из глыбы — ту самую рифму и тот самый образ, — человек, укрощавший вдохновение как необъезженного коня, — вот она. Всю жизнь неотступно такая. А мы? Талантливы, без сомнения. И в какие только земли мы не закапывали свои таланты! Целеустремленны? да, но к скольким целям стремились! Трудоспособны? о да, но... Одним словом, Ася, будем счастливы, если сумеем рассказать о ней так, чтобы она сама была довольна! Пусть это будет нашей целью, нашей волей — к жизни и творческой.

Крепко целую и люблю. Верю в нашу скорую встречу, Вы со мной постоянно.

Ваша Аля

P.S. Бывает ли гений справедлив? Бывает ли жизнь справедлива к Гению?

Примечания к письму № 20 от 28 мая 1946 г.

1 Неясно, о чьих стихах идет речь.

² В «Записках охотника» и «Стихотворениях в прозе» И. С. Тургенева сходных сюжетов нет. Очень вероятно, что А. Эфрон вспомнил рассказ Л. Н. Толстого «Старый тополь» из его «Четвертой русской книги для чтения» Здесь также дерево погибает, когда вырубают его молодые побеги (Л. Н. Толстой называет их «отростками тополя»), и завершается повествование словами о том, что старый тополь знал, что умирает, «и передал свою жизнь в отростки» (Л.Н.Толстой. Собр. соч. М., 1982. Т. 10. С. 193-194).

³ Беттина Brentano (в замужестве фон Арним; 1785-1859) — немецкая писательница, автор одной из любимейших книг М. Цветаевой «Переписка Гёте с ребенком». Образ самой Беттины — «бескорыстной расточительницы любви», «Беттины на скамеечке», снизу вверх взирающей на своего кумира и славословящей его, — постоянно варьируется в творчестве М. Цветаевой.

18 августа 1946 г.

Дорогая Асенька! Вчера получила Ваши 2 письма, одно через копирку, второе — от 9го июля, только мне. Еще раз повторяю, что «Полынь» и «Гений юмора»¹ получила, письмо про поэта Женю², переписанная проза Марины до меня не дошли, из трех писем отклика на эту прозу получила только одно, на которое ответила уже давно, дважды.

Этого Женю я, кажется, встречала в Москве, по-моему, он бывал у Лили, странный какой-то, необычайно медлительный, кажется, заикавшийся, постоянно улыбающийся, потиравший руки, очень большеротый — он ли? По его чудному виду думаю, что он — ваши с Мариной друзья всегда были необычны — как по форме, так и по содержанию. Странно — думала об этом на днях, — что себя ощущаю Вашей с Мариной современницей, но никак не «представительницей» другого поколения. Или я так сильно слилась с Мариной, что ее детство чувствую своим, ее молодость — своею (а своей в самом деле почти не было, м. б., потому так чувствую?), — нет, не только поэтому. Виной этому и родство душ, и какая-то особая, тоже только наша, семейная, память, с самого раннего детства связывавшая меня с матерью и сейчас не только не покидающая меня, но еще более со временем обостряющаяся. Как я помню себя — у меня с детства был какой-то взрослый ум, я ребенком прекрасно понимала, душой своей ощущала, что вы все — и Марина, и Ася, и Сережа, и Борис³, и их друзья — необычайно молоды. Иной раз я чувствовала себя — не сознанием понимала, а именно чувством — старше. Молодость родных и друзей передавалась мне уже — опытом их, — увлечений — уже горечью их разочарований. Как я вживалась, помнится, и в Маринину тоску о Сереже, и в радость очередного ее романа, и в горечь его конца. На опыте Марины я с самого детства, еще бессознательно, поняла смысл горькой заповеди «не сотвори себе кумира», ибо она вечно творила их и вечно разбивала. Даже из нее я не творила себе кумира, ибо я знала и понимала ее больше, чем полагается знать и понимать божество.

И таким образом она была для меня больше и ближе неведомого, придумываемого. Человечнее, значит, божественнее. А вот Андриюшу я почему-то чувствовала значительно моложе себя. Вроде Мура. Я знаю, что он должен быть умен, восприимчив и, вообще, иметь много «наших» черт, но все равно он моложе, и только потом, когда-нибудь он все поймет. Такое у меня чувство.

Но, может быть, я ошибаюсь, я ведь его почти не знаю. У меня часто чувство и предчувствие, вернее даже чутье, заменяют знание чего-нибудь — и очень редко мне изменяют. Кроме того — почему он Вам так редко пишет? В данном случае это сын не Ваш, а просто сукин — не сердитесь, но ведь это же ужасное хамство! Как бы там он ни увлекался своим мезальянсом⁴, садом, огородом, производством и возможным потомством, но время на письма у него все равно есть, мы с Вами это прекрасно знаем. Вот Вам еще доказательство того, что он моложе, люди нашего с Вами поколения пишут чаще — Вы не находите? — несмотря на все шутки почты!

Асенька, обо мне не беспокойтесь, чувствую себя в самом деле неплохо, питаюсь вполне прилично, бытовые условия и условия работы хорошие, никакие аппендициты

больше не тревожат. Несколько дней назад у нас провели радио, чему я очень рада. Хоть и тихая, но все же настоящая музыка. Это — большое душевное подспорье. На днях передавали «Алые паруса» Грина, я вспомнила Вас. Когда я к Вам пришла как-то в Москве, вы спросили меня, люблю ли я Грина, я ответила — нет, но я имела в виду французского писателя Жюльена Грина⁵, а этого Грина не знаю совсем, как, видимо, Вы — того. Не так давно прочла «Алые паруса» и поняла, почему он Вам нравится. Мне тоже. Я тоже не люблю Стендаля и Бальзака. Целую и люблю.

Ваша Аля

Примечания к письму № 21 от 18 августа 1946 г.

¹ Поэтические произведения А.И.Цветаевой.

² Евгений Николаевич Сомов (наст. фамилия Сомов-Насимович; 1910-1942). Отец его — литературный критик, печатавшийся под псевдонимом Чужак. А. И. Цветаева в неопубликованном письме рассказывает о нем как о талантливом поэте, шахматном композиторе и... месмеристе, то есть обладателе способностей к гипнотическому внушению. Местом его службы было издательство «Известия», где он работал корректором. Знакомясь с А. И. в начале 30-х годов, он представился ей как поклонник творчества М. Цветаевой, затем увлекся А. И. Цветаевой (об этом см. гл. «Искушение юностью» в недатированном письме А. И. Цветаевой к Б. Л. Пастернаку, РГАЛИ, фонд А.Крученых). А. И. привела Е. Сомова к Е.Я. Эфрон, где он после возвращения М. И. на родину встретился с ней. Летом 1940 г., в дни, когда М. И., уехав из Голицына, металась, пытаясь найти жилье в Москве, Е.Сомов помогал ей в поисках и, более того, предложил поселиться в его комнате. В письме к Е. Н. Сомову от [марта-апреля 1941 г.] М. Цветаева благодарит его: «исключительность Вашей привязанности, просто ставя Вас (в несуществующем ряду) на первое место — одинокое место — единственное». «...Всею справедливостью моею, не терпящей, чтобы такое осталось без ответа, всем взглядом из будущего, взглядом всего будущего, устами будущих отвечаю: Спасибо Вам!» (Цветаева М. Собр. соч. Т. 7, С. 707).

³ Здесь речь идет о первом муже А. И. Цветаевой, Борисе Сергеевиче Трухачеве.

⁴ За время пребывания на Архвоенстрое А. Б. Трухачев увлекся работавшей в столовой молодой вдовой Ниной Андреевной Зелениной, женился на ней, и в 1947 г. у них родилась дочь.

⁵ Жюльен Грин (1900-1998) — французский писатель. Автор повести «Алые паруса» Александр Грин (псевдоним; настоящее имя — Александр Степанович Гриневский; 1880-1932) — русский советский писатель.